Е.Е. КАЦОВСКАЯ

ПОМНИТЕ!

Оккупированная фашистами Одесса и лагерь смерти

Свидетельства девочки-подростка. 1941 — 1944

Книжная типография
БУКИ ВЕДИ
Москва
2012

УДК 82 – 94
ББК 84(2Рос)
К30

Е.Е. Кацовская
Помните! — М.: Книжная типография «Буки Веди», 2012. – 260 с.

Перед вами — летопись трагических событий оккупированной фашистами Одессы, а затем лагеря смерти. Ее автор, героическая женщина Евгения Кацовская, будучи девочкой-подростком, чудом выжила, пройдя все ужасы фашистского ада.

Этой книгой она исполняет свой долг перед узниками, давшими клятву: «Кто выживет, должен рассказать миру всю правду, все, как было, во имя жизни будущих поколений». «Помните!» — это призыв к незатухающей памяти человечества. Только память может спасти мир и остановить народы от повторения чудовищных преступлений.

Эта книга о невыносимом горе, великом мужестве и всеобъемлющей любви научит вас быть счастливыми, ценить жизнь и свободу.

Автор выражает глубочайшую благодарность своему мужу, полковнику ракетных войск Илье Михайловичу Кацовскому за помощь в создании этой книги.

Охраняется законом об авторском праве.
Все права принадлежат автору.

УДК 82 – 94
ББК 84(2Рос)
К30

ISBN 978 – 5 – 906069 – 33 – 7

© Книжная типография «Буки Веди», 2012 г.
© Е.Е. Кацовская, 2012 г.
© Общая редакция В.В. Шапошниковой

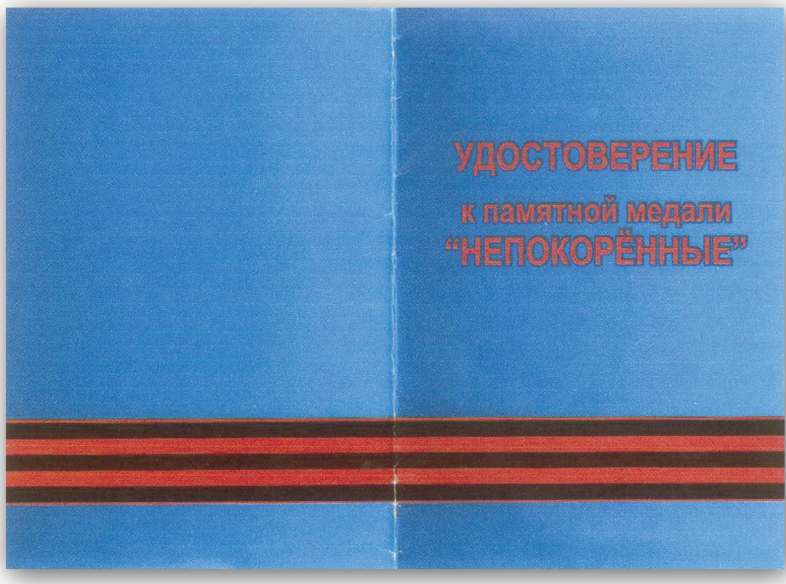
Светлая память всем жертвам холокоста в лагерях смерти!

Посвящается моим
горячо любимым
мамочке, папочке,
бабушке, сестричке
и всем родным,
уничтоженным фашистами

Люди! Остановитесь! Прочтите и передайте вашим близким и родным. Мы все печемся о счастливом будущем наших детей и внуков. Правда? Но ведь без прошлого нет будущего…

Борис Талис





Удостоверение к медали «Непокорённые», выданной бывшему несовершеннолетнему узнику фашистского концлагеря Е. Е. Кацовской. 2010 г.


МЕДАЛЬ
“60 РОКІВ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ
ВІД ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ”

1944
2004

Серія ВУ № 527456

Кацовскую
Евгению
Евсеевну

НАГОРОДЖЕНО
МЕДАЛЛЮ

*“60 РОКІВ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ
ВІД ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ”*

Президент України

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Л.Кучма

Указ Президента України
від 17 вересня 2004 р.


ПОСВІДЧЕННЯ

до медалі

*“60 РОКІВ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ
ВІД ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ”*

Удостоверение к медали «60 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков», выданной Е. Е. Кацовской. 2004 г.

ДИПЛОМ

Евгения Кацовская

Жюри и учредители конкурса
на лучшее антифашистское
произведение
выражают Вам благодарность
за участие в конкурсе
и отмечают актуальность
и литературные достоинства
Вашего произведения

Председатель жюри
Виталий Коротич

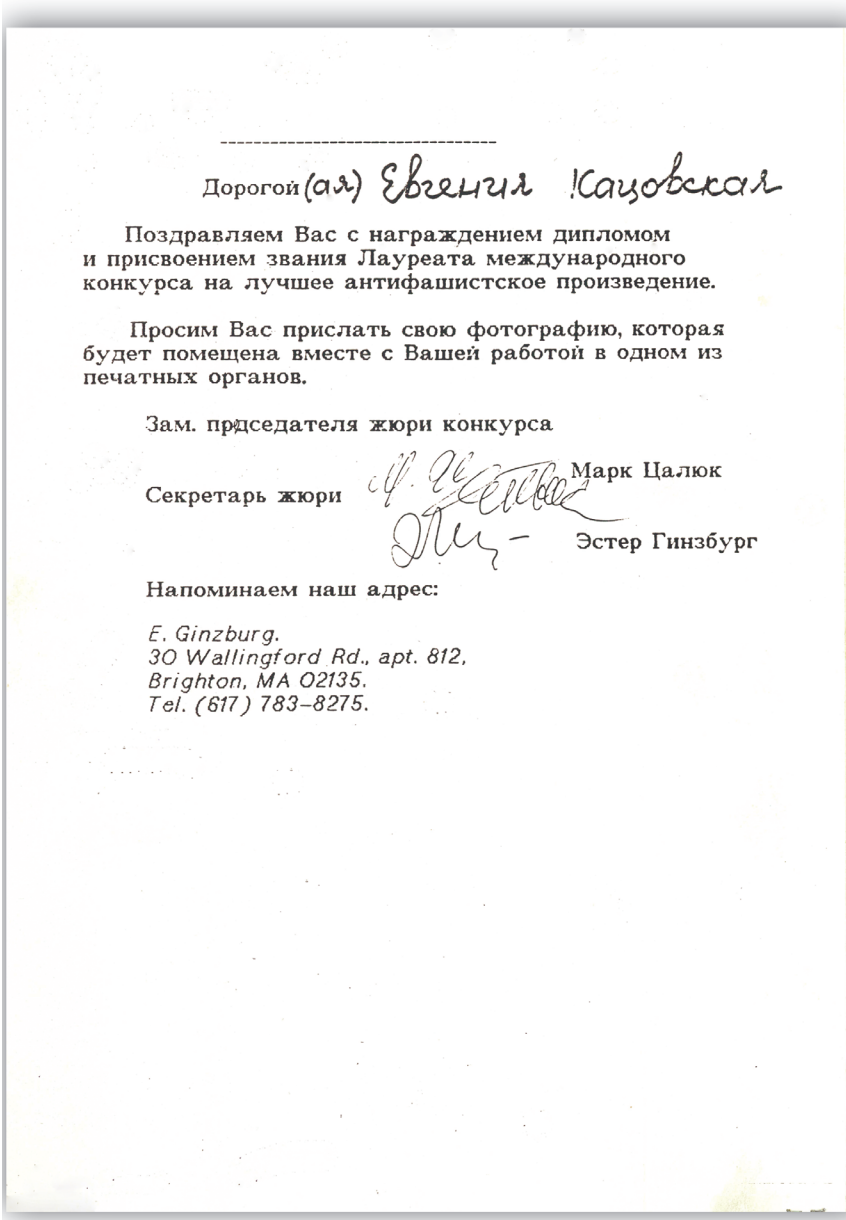
Учредители конкурса:

Президент Бостонского Общества
борьбы с антисемитизмом
и расизмом
Марк Слободкин

Президент Филадельфийского
Общества борьбы
с антисемитизмом и расизмом
Иосиф Винокуров

Президент радиокомпании
WMNB
Павел Палей

Бостон, май 1995.



Дорогой(ая) Евгения Кацовская

Поздравляем Вас с награждением дипломом и присвоением звания Лауреата международного конкурса на лучшее антифашистское произведение.

Просим Вас прислать свою фотографию, которая будет помещена вместе с Вашей работой в одном из печатных органов.

Зам. председателя жюри конкурса Марк Цалюк

Секретарь жюри Эстер Гинзбург

Напоминаем наш адрес:

E. Ginzburg.
30 Wallingford Rd., apt. 812,
Brighton, MA 02135.
Tel. (617) 783-8275.

Диплом лауреата международного конкурса на лучшее антифашистское произведение. Выдан Е. Е. Кацовской. Бостон (США), 1995 г.



Е.Е. Кацовская. 1960 г.



Е.Е. Кацовская. 2009 г.

Я, Долгова Анна Радионовна 1923 г. рождения, национальность русская, проживающая в Одессе со дня рождения по настоящее время. Во время войны и фашистской оккупации, я со своей матерью проживала в Одессе по ул. Чкалова № 45 кв. 30. Отец мой погиб на фронте 16 октября 1941 фашисты оккупировали Одессу, а 17 октября рыцыны стали выгонять еврейские семьи на улицу и семьи коммунистов.

Когда следующий день я также несла передачу соседке, то муж отцу я увидела Гельо Шмулевич (ныне по мужу Евгения Евсеевна Кацовская), то я попросила ей принести еду на следующий день. Когда на следующий день я пришла к ней и принесла еду, то нам удалось откупиться от румынь-патруля и он впустил Гельо на улицу. Я ее проводила до улицы Ворошилова к себе и ее пригласила к моя, т.к. у нас в доме расположились немецкая.

Я посоветовала ей пойти к Фире.

Только еще эпизод, это было в ноябре. После того, как евреев выгнали в Дальник и многих расстреляли. Оставшимся евреям разрешили жить в своих квартирах (по приказу Антонеску), но они должны были носить на груди и на спине желтую звезду на черном квадрате.

Вот еще эпизод. Пришла ко мне соседка Тени и сказала, что Теню сильно избили немцы, она сильно рыдает, не встает и все время зовет Анну (т.е. меня). Она просит, чтоб я пришла. Когда я пришла, то застала ее сильно избитую, она сильно рыдала и все время приговаривала, что они со мной сделали. Когда наши придут обязательно всех расстреляют.

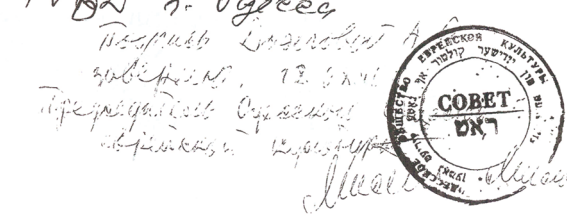
Потом уже зимой 1942 она к нам пришла. На нее страшно было смотреть, голодная, холодная. Рассказала нам с мамой, что какой-то ее прятал, но теперь его соседи ее выдали. Мы ее покормили и одну ночь она ночевала у нас, но у нас находиться нельзя было. И она ушла на следующий день. Больше мы ее не видели. Мы были уверены, что она погибла.

А когда освободили Одессу она через день-другой пришла. Вместо платья на ней был завшивленный мешок в дырах. Моя мама сожгла это тряпье, обмыла ее, переодела, накормила. Мои показания я подтверждаю.

Анна Радионовна Долгова-Авдеева

паспорт II-НСД № 529332.

Паспорт выдан Ильичевским РОВД г. Одесса



Свидетельство А.Р. Долговой

MAXIMILIAN-KOLBE-WERK
Karlstraße 40
79104 Freiburg

1996 год

Многоуважаемые дамы и господа !

50 лет тому назад начались исторические события, события, которые принесли Вам, вашей семье, вашему народу бесчисленные страдания, унижения и разрушения. Нам не безразлично то, что совершалось нашими соотечественниками, втянутыми нем. фашистами в несправедливость и разбой. Вы мучались, голодали, мерзли, испытывали страх, жили в нечеловеческих условиях, потеряли здоровье и надежды на будущее. Нам стыдно. Как немцы, мы просим у вас прощения за все несправедливости, которые совершались от имени Германии. Сегодня, от имени спонсоров и друзей организации Максимилиан Колбе один из наших общественных работников вручит Вам этот подарок. Это маленькое свидетельство того, что в Германии есть люди, которые принимают участие в Вашей тяжелой судьбе и думают о Вашем благополучии.

Пожалуйста, не думайте, что мы таким образом хотим искупить перенесенные Вами страдания и унижения, так как это нельзя искупить. Не в нашей власти изменить то, что произошло. Навсегда остается фактом, что именно немцы - граждане нашего народа - отказали Вам в праве быть людьми. Мы не хотим заслужить прощение ценой подарка. Мы только хотим показать, как нам стыдно и насколько искренна наша любовь к Вам.

Уважаемые дамы и господа! В гетто и концентрационных лагерях Вы научились ненавидеть всё, что является немецким. Мы знаем, что даже через 50 лет после освобождения из гетто и концентрационных лагерей страдания остались. Мы хотели бы разделить с Вами Ваше бремя, Ваше горе, боль по погибшим родственникам и друзьям, разочарования, мучительные воспоминания, страшные сны, болезни, заботы о Ваших детях и внуках. И поэтому мы хотели бы подарить Вам нашу любовь и заботу.

С глубоким уважением
от имени организации Максимилиан Колбе
Ваша
(Элизабет Эрб)
директор

п.с.: Мы должны сообщить Вам, что у нас, к сожалению, нет переводчиков, а поэтому мы сможем читать Ваши письма и отвечать на них только в том случае, если они будут написаны на немецком языке. Адрес и фамилию отправителя просим также написать латинскими буквами.

Это подарки гуманитарной помощи, поднесенные немецким народом
Никто не имеет право требовать за них какие бы то ни было деньги.

Сопроводительное письмо к подарку гуманитарной помощи от лица Германии. Вручено Е. Е. Кацовской. 1996 г.

Свидетельствуют документы
Как это виделось из Бухареста...

Из стенограммы заседания Совета Министров Румынии от 13 ноября 1941 года.

Маршал Ион Антонеску, глава государства:

- С евреями из Одессы что случилось, то случилось... Репрессивные меры были довольно суровыми?

Профессор Г. Алексяну, губернатор Транснистрии:

- Были господин маршал.

Маршал Ион Антонеску, глава государства:

- Что, по вашему, означает "очень суровыми"?... Я приказал расстрелять по 200 евреев за каждого убитого и по 100 евреев за каждого раненого (румынского солдата,- прим.переводчика), так было сделано?

Профессор Г Алексяну, губернатор Транснистрии:

- Были и расстреляны и повешены на улицах Одессы*.

* 22 октября 1941 года в результате взрыва мины замедленного действия взлетела в воздух часть здания, в котором находилась румынская комендатура. Погибли комендант, 16 офицеров, 35 солдат и 9 младших чинов и гражданских лиц. В ответ румынские власти развернули репрессии против еврейского населения. 4 ноября 1941 года шеф секретной службы информации немецкой армии в Румынии Риддер записал в такой последовательности события, происшедшие в Одессе после взрыва: "В ночь с 22 на 23 октября вблизи порта были расстреляны 19000 евреев, в пятницу был отправлен конвой из 40000 евреев в Дальник, где все были уничтожены."

(Р. Хилберг. Германия и евреи. 1939-1945. Документы катастрофы. Стр. 78-79)

Маршал Ион Антонеску, глава государства:

- Поступайте так, ибо я отвечаю перед страной и историей. Пусть американские евреи привлекут меня к ответственности !"

Из стенограммы заседания Совета Министров Румынии от 16 декабря 1941 года

"Маршал Ион Антонеску, глава государства (обращаясь к проф. Г.Алексяну, губернатору Транснистрии):

- Я прошу тебя, требую срочно очистить Одессу от жидов... Втолкни их в катакомбы, топи их в Черном море, высели их из Одессы. Ничего знать не хочу. Пусть умирают сотнями, пусть умирают тысячами, пусть погибнут все...".

(Problema evreiasca rn stenogramele Consiliului de Ministri", vol. II, Bucuresti, 1996, ed. Hasefer, pag. 332-333, 364-365).

("Еврейский вопрос в стенограммах Совета Министров", том II, Бухарест, 1996, изд. Хасефер, стр. 332-333, 364-365).

(Перевод с румынского).

Стенограмма заседания Совета Министров Румынии от 13 ноября 1941 г. Из кн.: Еврейский вопрос в стенограммах Совета Министров. Т.II. Бухарест, 1996. (пер. с румынского)

Последний этап

Официальная историография не знает, что в период оккупации Одессы фашистами было уничтожено более 180 тысяч ее жителей, в основном, еврейской национальности. А проживавших на территории «Транснистрии» (см. карту) — 315 тысяч. Женщин, стариков и детей...

На расстрел в районы области угоняли евреев, формируя их в партии-этапы. Последний такой этап состоялся 50 лет тому назад — в середине июня 1942 года, когда последнюю группу евреев угнали из Слободского гетто, размещенного на территории и в зданиях общежития Одесской морской академии. Волею судьбы многие из детей этого последнего этапа остались живы, и теперь им — бывшим несовершеннолетним узникам — в среднем более чем по 60 лет. И они вступили в свой последний жизненный этап...

О событиях тех лет имеются весьма «скупые» материалы: брошюра проф. С. Я. Ворового (ныне покойного) и воспоминания бывшего узника гетто Давида Стародинского, изданные недавно с помощью представителя «Джойнт» в Одессе и Международной ассоциации бывших узников гетто и концлагерей.

Те немногие, кому чудом удалось выжить в те страшные годы, объединились 2 года назад, создав Ассоциацию бывших узников гетто и нацистских концлагерей, вошедшую в состав Одесского общества еврейской культуры. Одной из центральных задач, решаемых ассоциацией, является защита прав и интересов бывших узников и увековечение

инфекционной больницы (на ул. Пастера) и многие другие. Их нет, но память о них жива!

Ассоциация обращается с просьбой ко всем тем, кто спасал евреев и других граждан в годы оккупации, а также к тем, кто знает о таких людях, сообщить об этих фактах по адресу: г. Одесса, ул. Воровского, 46-а, комн. № 12; тел. 25-13-07 (по воскресеньям, с 13.00 до 15.00).

Кроме того, Одесская ассоциация бывших узников занимается созданием памятника евреям — жертвам геноцида, зверски уничтоженным и замученным на территории Транснистрии. Этот памятник намечено соорудить на территории бывшего 2-го еврейского кладбища (по Черноморской дороге). Решением Одесского горисполкома указанная площадка будет превращена в мемориальный парк, где будут размещены, кроме вышеупомянутого, еще 2 памятника: жертвам незаконных политических репрессий и жертвам погрома 1905 года в Одессе. Последний будет перенесен со Слободского еврейского кладбища на свое прежнее место.

На эти цели и на другие нужды Одесской ассоциации бывших узников необходимы денежные средства. И мы обращаемся ко всем организациям, промышленным предприятиям, кооперативам, акционерным обществам, совместным и малым предприятиям, частным лицам с просьбой выступить в качестве спонсоров нашей ассоциации.

Мы с благодарностью примем любую помощь, в том числе и деньги, которые можно перечислить Одесской ассоциации бывших узников на р/с Одесского общества еврейской культуры: № 1700965 в Жовтневом отделении УСБ г. Одессы, МФО 328038.

Большую работу Одесская ассоциация проводит по выявлению и регистрации бывших узников, оказанию им помощи в получении документов и удостоверений на право пользования льготами, консультировании бывших узников по различным вопросам. Все это выполняется бесплатно.

В списках, составленных за прошедшие 2 с лишним года, в Одесской ассоциации состоит более 500 человек. Однако возникла необходимость в проведении в течение июня-июля перерегистрации: часть из бывших узников уехала на постоянное место жительства в другие страны, а также из-за допущенных одним из членов совета Ассоциации нарушений в выдаче в марте-мае с. г. удостоверений (предстоит проверка удостоверений за №№ 350—516). Для перерегистрации приглашаются в Ассоциацию все евреи — бывшие узники.

В настоящее время готовится съемка документального фильма о катастрофе евреев Одещины, Винничины, Бессарабии, Буковины, уничтоженных на территории Транснистрии. Создается нами музей и архив по истории геноцида. Мы обращаемся с просьбой ко всем, у кого сохранились документы, письма, предметы — свидетели того времени, передать их Ассоциации.

Бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и гетто пользуются установленными льготами. Так, например, оплата за квартиру и коммунальные услуги составляет 50 процентов. Справедливости ради, следовало бы распространить эти льготы на всех бывших узников, независимо от их возраста. Более того, следовало бы на всех распространить льготы, которыми пользуются в настоящее время инвалиды Великой Отечественной войны, как это уже решено в Белоруссии, Молдове, России. Сегодня те, кто чудом выжил в те страшные годы оккупации, вступили в свой последний этап. И они нуждаются в помощи. Мы надеемся на поддержку в решении этих вопросов депутатского корпуса Одессы, руководителей города и области.

Леонид СУШОН.
Сопредседатель Международной ассоциации, председатель Одесской ассоциации бывших узников гетто и концлагерей.

МУЧЕНИКИ И ЖЕРТВЫ ГЕНОЦИДА!
МЫ, ЖИВЫЕ, ПОМНИМ О ВАС...

Лагеря смерти и гетто на территории

памяти жертв фашизма. Уже собрано немало воспоминаний, написанных этими людьми. Сборник «Черная книга Транснистрии», который, не сомненно, будет представлять немалую документально-историческую ценность. Дальнейший сбор таких материалов продолжается.

Активисты ассоциации ведут также поиск людей, спасавших евреев в годы оккупации и рисковавших своей жизнью и жизнью своих близких. Среди одесситов уже найдены такие люди, это Анна Дмитриевна Белоусова-Грек, недавно побывавшая в Израиле по приглашению Института «Яд-Вашем» — института-музея памяти жертв геноцида, героизма и сопротивления в борьбе с фашизмом в годы второй мировой войны. За спасение в годы оккупации еврейской семьи Анну Дмитриевну в Израиле наградили памятной медалью, присвоили почетное звание «Праведник Мира», а Американский фонд для христиан-спасителей установил ей пожизненную пенсию.

Аналогичный подвиг совершили Мария Осиповна Кононова и ее сын, Тимофей Иванович, Лидия Ивановна Галета, Анастасия Федоровна Тюряева, Александра Николаевна Подлегаева, Константин Михайлович Гродский, Дмитрий Александрович Стадник, Анна Никифоновна Поваренко-Ципинская, Людмила Никифоровна Пигнастая...

Из этой жизни ушли добрые, прекрасные люди, которые скрывали евреев и помогали им выжить в годы фашистской оккупации. Это известные профессора-медики Скроцкий, Стефанский, Коровицкий, одесситки Лидия Ильенко, Антонина Анисимова, многочисленный персонал 1-й городской

Лагеря смерти и гетто на территории оккупационной зоны «Транснистрия»

территория «Транснистрия» стала гигантским кладбищем для 300000 евреев Одессы, Восточной Подолии и евреев, депортированных румынскими властями из Буковины и Бессарабии



Лагеря смерти и гетто на территории оккупационной зоны «Транснистрия» (карта).

Из газеты «Вечерняя Одесса», 9 июля 1992 г.

КАК НАЧИНАЛСЯ ХОЛОКОСТ НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ СССР

Лев БЕЗЫМЕНСКИЙ

Неизвестный документ из архива В.М.Молотова

С первых дней вторжения вермахта и СС в СССР начались планомерные акции по истреблению еврейского населения западных районов БССР, УССР и Прибалтики, что было предусмотрено изданными заранее директивами верховного главнокомандования вермахта и главного управления имперской безопасности СС. Сообщения об этих акциях стали поступать от беженцев с оккупированных территорий, от партизанских отрядов и разведорганов Красной Армии. Они появились на страницах советской печати, в передачах радио, в сообщениях военных корреспондентов.

Однако с некоторого времени публикация этих данных стала придерживаться, а примерно с 1943 года была практически приостановлена, что вытекало из начавшейся на уровне партийного руководства пропаганды государственного антисемитизма. Так, после освобождения Киева в официальном акте о Бабьем Яре было вычеркнуто указание, что там уничтожались евреи. «Первой ласточкой» этой линии можно считать редактирование В.М.Молотовым в конце 1942 года заявления Советского правительства о немецком плане уничтожения еврейского населения Европы. В первом варианте, составленном на основе полученных с оккупированных территорий сообщений НКВД, приводились подробные данные о том, как происходило массовое уничтожение евреев. Проект был предоставлен В.М.Молотову; однако в опубликованном 19 декабря 1942 года варианте эти сведения были вычеркнуты, в результате чего остались только данные о Польше, Норвегии и других странах Европы.

В архиве В.М.Молотова сохранился полный текст, в котором содержатся ценнейшие и точные сведения о начальном этапе Холокоста. Вычеркнутый раздел гласил:

«Немцы приступали к массовым убийствам евреев немедленно после занятия того или иного населенного пункта. Причем, что крайне характерно для гитлеровской демагогии, за весь период пребывания этой преступной клики у власти, германское командование зачастую обманным образом заявляло местному населению, что якобы реквизиции, ограбления и расстрелы направлены «только» против евреев. Этот обман неизменно разоблачался действиями самих оккупантов, которые по прошествии немногих дней, а иногда и всего нескольких часов, обрушивали свой грабеж и террор на всю основную массу населения. Истреблению городского еврейского населения в некоторых случаях предшествовала его регистрация, обманный вызов на сборные пункты под предлогом направления на работу, с последующей отправкой за город на массовый расстрел. В ряде областей, местных еврейских детей погрузили на подводы, связали веревками и утопили в реке. В многострадальном белорусском городе Витебске разгромленном и разграбленном оккупантами, перед расстрелом всех евреев города в возрасте более 16 лет, дети и подростки до 16 лет были заранее собраны и закопаны живыми в братские могилы, которые они сами для себя вырыли.

Гитлеровская машина смерти раздавила тысячи жизней мирных людей и в других городах Белоруссии. В Долгиново, близ Минска, было зарыто в землю 550 евреев, в большинстве детей, в Бресте было казнено свыше 2 000 человек, в Дуброво — 3 700 человек, а в Орше в апреле 1942 года гитлеровцы устроили кровавую баню, казнив одновременно 28 000 евреев.

Советскому Правительству стали теперь известны и некоторые данные о том, как бушевал гитлеровский антисемитский террор в прибалтийских советских республиках. Уже вскоре после вторжения немцев на территорию Латвийской ССР в Риге было расстреляно свыше 60 000 евреев, в том числе и евреи, привозившиеся для расстрела из Литвы, Эстонии и из Германии. В числе расстрелянных — видные деятели литературы, науки и искусства. Расстрелы производились почти непрерывно, партиями по 300-400 человек, которые вывозились на остров, расположенный на реке Западная Двина (Даугава) в 12 клм. от Риги, а также на шоссе, ведущем из Риги на Даугавпилс. Расстреливались целые семьи. Детей вырывали из рук матерей и тут же, на их глазах, убивали или живыми бросали в приготовленные ямы и рвы. В настоящее время в Риге осталось не более 400 евреев, живущих в окруженном колючей проволокой гетто, доступ в который запрещен. Эта группа евреев, обреченная на голод, медленно вымирает. Число расстрелянных в других городах Латвии точно не известно, но установлено, что в большинстве городов в живых не осталось ни одного еврея. Страшная судьба постигла относительно многочисленное еврейское население Литовской ССР, на которое гитлеровский террор обрушился в первую очередь. В Вильнюсе, Свенцянах и других городах Литвы евреи истреблены поголовно. Тысячами они еще скрываются в лесах, где ведут жизнь затравленных зверей, живут в норах и берлогах, одеты в лохмотья, вымирают от голода и болезней. Известно, что многие литовские крестьяне, которые сами изнывают под тяжелым гнетом захватчиков, находят пути для того, чтобы поддержать своих еврейских собратьев в меру собственных скудных возможностей, бесплатно снабжают их ди-

стрел; в других же случаях массовое убийство принимало форму поголовного погрома и происходившей в городе бойни, немедленно перекидывавшейся и на нееврейскую часть населения.

В настоящее время имеются многочисленные показания очевидцев страшных расправ гитлеровцев с евреями в Киеве в сентябре и октябре пр.г. Только за один день 29 сентября немцы, вызвав на Лукьяновское кладбище евреев, которым было приказано взять с собой ценные вещи и теплое белье, ограбили и раздели их, а затем расстреляли всех явившихся — свыше 30 000 человек, в большинстве своем стариков, женщин и детей. Многие из жертв этой бойни закапывались живыми, иногда раненными совсем легко, так как их палачи для «потехи» и ради «экономии свинца» клали друг на друга или ставили рядом нескольких обреченных и расстреливали их одним выстрелом. В октябре в Киеве была повторена массовая казнь евреев, вместе с которыми было расстреляно

ли неизвестно, но установлено, что группы евреев, расстрелянных из автоматов, целиком заполнили на глубину в один метр ров длиной в 100 и шириной в 8 метров.

В ноябре прошлого года при аналогичных условиях гитлеровцы расстреляли 14 тысяч евреев — жителей г.Днепропетровска, в том числе большое количество женщин и детей, включая грудных, — в 5 км. от города, в так называемом Монастырском лесу. В декабре немцы повторили массовый расстрел там же.

Сейчас стали известны потрясающие подробности массовой казни евреев в Феодосии в ноябре прошлого года. Мужчины, женщины и дети тысячами были вывезены за город на расстрел, там раздеты, и нагие, на морозе, во время метели, дожидались своей очереди быть убитыми. Все дети, включая грудных, были отравлены там же, на глазах у родителей, сильнодействующим ядом, который с этой целью применялся немцами и в других местах при массовых расправах. После убийства детей первой группе взрослых было приказано лечь на дно рва, и они были расстреляны из автоматов, засыпаны слоем земли, на который укладывался новый ряд голых, обезумевших от ужаса людей, которых расстреливали и засыпали землей, не интересуясь тем, сколько из них убито. Таковы же сцены расстрела всех семейств евреев, караимов и цыган, а также многих татар в гор.Симферополе в ноябре прошлого года. В числе более 10 тысяч евреев, расстрелянных в Мариуполе, было около 3 000 детей.

Имеющаяся информация о том, что гитлеровцы, при проводимом ими истреблении евреев оккупированных стран Европы, специально инструктируют агентов Гестапо обеспечить поголовное убийство детей, совпадает с тем, что творят гитлеровские детоубийцы на советской территории. Германское командование, распорядившееся, чтобы во всех советских деревнях оккупанты относились с особым подозрением и беспощадностью к детям и подросткам, как к чуть ли не самым опасным помощникам партизан, следит вместе с Гестапо и за тем, чтобы при массовых казнях евреев были уничтожены их дети. Так, 15-16 июля с.г. немецкое командование в гор.Смоленске, решив отметить праздник местного гарнизона полным истреблением всего остававшегося в живых еврейского населения города, начало с того, что 15 июля на глазах у родителей подвергло детей следующей пытке: их бросали в крытые автомобили, которые наполнялись газом; затем машины увозили отравленных, но еще живых детей в пригород Гедионовку, где дети закапывались в ямы. 16 июля таким же способом были умерщвлены все взрослые евреи города. Всего было убито 1867 человек. В течение двух суток из-под земли были слышны стоны несчастных, закопанных полуживыми. В украинском городе Хорол, Полтавской области, перед поголовным расстрелом взрослых евреев их детей засыпали порохом и подожгли. В гор. Первомайске, Одесской

щей, хотя и знают, что любая помощь еврею, как об этом объявлено оккупантами, карается смертной казнью.

По сообщениям, поступившим от партизан Северного Кавказа, гитлеровцы, зверски расстрелявшие 12 августа с.г. 700 евреев в г.Ворошиловске, свыше 4 500 человек — в районе Пятигорска, не установленное число в Краснодаре и Армавире, где были арестованы все евреи и вместе с сотнями советских граждан русской и других национальностей увезены на расстрел, — перед расправами особо тщательно, под руководством офицеров, собирали все личное имущество обреченных людей, включая и поношенные вещи, мелкую домашнюю утварь и т.д. и отправляли собранное в Германию.

После того, как осенью и зимой 1941-42 с.г. по Украине прошла волна неслыханных массовых расправ с евреями, могло казаться, что кровожадность оккупантов уже удовлетворена и что истребле-

лачи просто не найдут достаточно жертв для массовых казней. Однако именно для того, чтобы повторить расправы в грандиозном масштабе, гитлеровцы, после длительной и методичной подготовки, сосредоточили в ряде украинских городов мелкими группами евреев, схваченных в деревнях, местечках, — везде, где они могли быть найдены, — и собрав их в группы по несколько тысяч человек, устроили по всей территории Украины 26 и 27 августа с.г. новую кровавую бойню, после которой можно считать, что почти все еврейское население этих областей уничтожено. Так, в гор.Сарны, после казни 18 тысяч евреев весной с.г., вновь было сконцентрировано свыше 14 000 человек, которые были казнены одновременно 26 августа. Массовые казни произошли в эти два дня в Рокитино, где, наряду с 1 600 евреями, было расстреляно 800 украинцев, в Березно, где, по данным самих немцев, было расстреляно 1 250 человек, в Кострополе, где оккупанты истребили за один день 1 400 евреев, в Здолбуново, где было нагромождено полторы тысячи трупов, и во многих других украинских городах. Немногие спасшиеся — старики, женщины и дети — бродят по лесам оборванные, босые и голодные, в надежде на встречу с партизанскими отрядами.

Этот скорбный лист можно было бы продолжить. Приведенные факты представляют собой лишь небольшую часть фактических материалов, поступивших и продолжающих поступать в распоряжение Советского Правительства. Полная картина страшных злодеяний потерявших всякий человеческий облик гитлеровских садистов, несомненно, выявится лишь после изгнания этих выродков с советской земли. Однако то, что уже вскрыто, показывает, что людоедские инстинкты клик

Гитлера-Геринга-Гиммлера-Геббельса и их генералов никогда не будут удовлетворены, что, истребив всех евреев, эти бесы будут продолжать истреблять русских, украинцев, белорусов, французов, чехов, поляков, сербов, не говоря уже о том, лучшие люди немецкой нации уже уничтожены в течение десятилетия пребывания у власти этих вырвавшихся на волю угловников. Более чем когда-либо Советское Правительство убеждено, что только истребление преступной гитлеровской клики и их пособников, в результате совместной победы свободолюбивых народов над немецко-фашистскими армиями, предотвратит истребление гитлеровцами мужчин, женщин и детей, живущих на европейском и других материках, к какой бы национальности они ни принадлежали.

Материал предоставлен редакцией журнала «Новое время»
При публикации сохранены стилистические особенности материала.



Бабий Яр

Над Бабьим Яром памятников нет.
Крутой обрыв, как грубое надгробье.
Мне страшно.
Мне сегодня столько лет
как самому еврейскому народу.
Мне кажется сейчас —
я иудей.
Вот я бреду по древнему Египту.
А вот я, на кресте распятый, гибну,
и до сих пор на мне — следы гвоздей.
Мне кажется, что Дрейфус —
это я.
Мещанство —
мой доносчик и судья.
Я за решеткой.
Я попал в кольцо.
Затравленный,
оплеванный,
оболганный.
И дамочки с брюссельскими оборками
визжа, зонтами тычут мне в лицо.
Мне кажется —
я мальчик в Белостоке.
Кровь льется, растекаясь по полам.
Бесчинствуют вожди трактирной
стойки
пахнут водкой с луком пополам.
, сапогом отброшенный, бессилен.
Напрасно я погромщиков молю.
Под гогот:
«Бей жидов, спасай Россию!»
абазник избивает мать мою.
, русский мой народ!
Я знаю —
ты
о сущности интернационален.
Го часто те, чьи руки нечисты,
Я знаю доброту моей земли.
Как подло,
что, и жилочкой не дрогнув,
антисемиты пышно нарекли
себя «Союзом русского народа»!
Мне кажется —
я — это Анна Франк,
прозрачная,
как веточка в апреле.
И я люблю.
И мне не надо фраз.
Мне надо,
чтоб друг в друга мы смотрели.
Как мало можно видеть,
обонять!
Нельзя нам листьев
и нельзя нам неба.
Но можно очень много —
это нежно
Друг друга в темной комнате обнять.
Сюда идут?
Не бойся — это гулы
самой весны —
она сюда идет.
Иди ко мне.
Дай мне скорее губы.
Ломают дверь?
Нет — это ледоход...

Над Бабьим Яром шелест диких трав.
Деревья смотрят грозно,
по-судейски.
Все молча здесь кричит,
и, шапку сняв,
я чувствую,
как медленно седею.
И сам я,
как сплошной беззвучный крик,
над тысячами тысяч погребенных.
Я —
каждый здесь расстрелянный
старик.
Я —
каждый здесь расстрелянный
ребенок.
Ничто во мне
про это не забудет!
«Интернационал»
пусть прогремит,
когда навеки похоронен будет
последний на земле антисемит.
Еврейской крови нет в крови моей.
Но ненавистен злобой заскорузлой
я всем антисемитам,
как еврей.
И потому —
я настоящий русский!

1961 г. Евг. ЕВТУШЕНКО

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА

Стихотворение Евг. Евтушенко «Бабий Яр» о казни евреев в Киеве (в урочище Бабий Яр) («Литературная газета», 1961 г.)

ПРОЦЕСС ПАЛАЧЕЙ БАБЬЕГО ЯРА

. . .Преступления зондеркоманды достигли апогея в столице Украины. Авангард зондеркоманды 4-а ворвался в Киев в сентябре 1941 года сразу же вслед за частями вермахта. Командовали им оберштурмфюреры Янсен и Хеффнер. Они немедленно принялись за «работу». Уже 24 сентября по городу расклеили 2 тысячи плакатов с приказом коменданта генерал-майора Эберхарда, предлагавшим под угрозой расстрела всем евреям явиться на сборный пункт. Со свойственным гитлеровцам коварством они одновременно распустили слух, что евреев переселят, что жизни их ничто не угрожает.

«Военная хитрость» удалась. Вот что значится в донесении № 128 Имперского главного управления безопасности:

«Хотя первоначально рассчитывали на явку не более 5 000—6 000 евреев, прибыло свыше 30 000 евреев, которые благодаря исключительно ловкой организации вплоть до экзекуции еще верили в переселение».

Впоследствии Блобель рапортовал: в Киеве с утра 29 сентября до вечера 30 сентября 1941 года казнено 33 771 человек. Золото, ценные вещи и одежда изъяты.

Вечером 30 сентября появились немецкие саперы. Они подорвали края яра, земля осыпалась и прикрыла кучи трупов. Затем овраг кое-как заровняли.

В Бабьем Яре экзекуции продолжались и позднее, вплоть до 1943 года, но только не в таком массовом масштабе. В ходе этих экзекуций погибло очень много военнопленных.

...Из свидетельской комнаты выходит среднего роста, немолодая женщина.

Судья предлагает ей дать показания о преступлениях зондеркоманды 4-а.

Дина Мироновна обстоятельно рассказывает о том, что произошло в Киеве 29 и 30 сентября 1941 года.

Когда она прочла плакат германской комендатуры, приказывающий всем евреям явиться на сборный пункт, то, как и тысячи других, поверила, что состоится эвакуация евреев. Но то, что она увидела, было ужасно. Громадную толпу людей гнали по направлению к Бабьему Яру, по дороге яростно избивали палками, натравливали собак. Обессиливших топтали ногами. Около края оврага заставляли раздеваться донага, грубо толкали вниз. Потом раздавались автоматные очереди. А поток людей все не кончался и не кончался...

Те, кто читал документальный роман «Бабий Яр» Анатолия Кузнецова, помнят, сколько страшных часов пережила тогда Дина Проничева,— когда, оцепенев, следила за бойней в яре: там были ее родные,— когда везли ее на расстрел, когда, считая мертвой, закапывали вместе с трупами...

В. ХАРУТО,
В. РОЗЕН

1968 «Юность» №11

Статья «Процесс палачей Бабьего Яра» об уничтожении евреев в Киеве (журнал «Юность», 1968 г.)



Е. Е. Кацовская с дочерью Аделаидой

ПРЕДИСЛОВИЕ

Я, Кацовская (девичья фамилия Шмулевич) Евгения Евсеевна, 1927 года рождения, была еще школьницей и жила с родителями в г. Одессе, когда началась война. После фашистской оккупации я одна из всего родства осталась в живых. Когда мы, маленькая группа уцелевших евреев, из лагеря вернулись в Одессу, то видели плакаты, где указывалось, что в Одессе во время фашистской оккупации было уничтожено 200100 евреев, а осталось только 300 человек. В настоящее время нас, уцелевших, в живых остались единицы. Мне кажется, что погибло намного больше, так как в Одессе было много беженцев-евреев из Бессарабии, которых не учитывали.

После возвращения из лагеря, несмотря на то что была очень слабенькой и худенькой, я хотела и считала своим долгом что-то делать, чтобы внести свой посильный вклад в уничтожение ненавистного врага и тем самым отомстить за всех замученных людей. Мне также хотелось помочь раненым солдатам и отблагодарить их за свое освобождение. Поэтому, после многочисленных просьб и убеждений, я была принята вольнонаемной в эвакогоспиталь, входивший в состав действующей армии. За участие в войне мне выдали соответствующее удостоверение и наградили орденом и медалями.



Мама, папа и я. Папу повесили 22 октября 41 года на привокзальной площади. Маму с сестрой и бабушкой зверски уничтожили

Сейчас я выполняю наказ евреев, которые были уничтожены. Мы давали друг другу слово, что если кто-то все же останется в живых, то он расскажет всем людям Земли, как жестоко фашисты, эти звери в облике человека, уничтожали невинных людей. Поэтому я, живая, решила рассказать обо всем моим детям, внукам, всем людям Земли, чтобы они передавали это из поколения в поколение. Люди должны знать, что такое фашизм и что он несет. Необходимо, чтобы люди никогда, никогда не допустили возрождения звериного фашизма.



Сестричка Адочка зверски убита в феврале 1942 года

Я расскажу о себе, о замученных и уничтоженных бабушке, отце, матери, сестричке, о всех родственниках и о всех людях, которые умирали и до последней минуты жизни надеялись на спасение. Я пишу для того, чтобы хоть краешком люди могли проникнуть в ту атмосферу смерти и уничтожения. Эти ужасы пришлось пережить мне и маленькой группе людей, оставшихся в живых, и тем миллионам людей, которые были уничтожены. Поверьте, мне писать было нелегко. Не потому, что приходилось вспоминать. Нет, мне вспоминать не нужно было. Это всегда мучительно было со мной.

Если эти воспоминания дойдут до сердца людей, особенно молодого поколения, то я буду считать, что выполнила свою миссию.



Женя Кацовская в возрасте 2 лет

ОККУПАЦИЯ

За несколько дней до этого страшного дня оккупации в городе возникла паника. Начались беспорядки, магазины почти все были закрыты. Напротив нашего дома по Свердлова, 75 был маленький хлебный магазин, и там, помоему, продавали еще сахар и конфеты. Не то за два дня, а может быть, накануне, вскрыли этот магазин и стали среди бела дня его грабить, несмотря на бомбежки и обстрелы. Мама велела нам сидеть дома. Я помню, как прибежал соседский мальчик и стал кричать, чтобы жильцы шли в домоуправление, чтобы получить там мануфактуру, там раздавали какое-то грубошерстное сукно по три метра.

Где-то в августе месяце мама стала понимать весь ужас положения. Отца уже не было с нами — он ушел в народное ополчение, — и мама стала искать пути, чтобы эвакуироваться. Но отца не было, а мама не работала — была домашней хозяйкой. Мама обратилась в домоуправление, но ей там сказали, что талоны на выезд дают в учреждениях, а тем, кто не работает, — в райисполкоме. Мы относились к Кагановичскому райисполкому. Когда мы туда пришли, то нам сказали, чтобы мы записались и по очереди нас вызовут. Не дождавшись вызова, мы с мамой снова пришли в райисполком. Там стояла огромная очередь, вернее, люди не стояли, а сидели на земле — кто брал с собой стул, кто подстилку. Очередь тянулась несколько кварталов по улице Чижикова, начинаясь с улицы Белинского. Мы, наверное, больше недели простояли в очереди. В это время немцы уже бросали фугасные бомбы и даже мины (когда она падала, то звук напоминал музыку). Однажды, когда я с улицы Чижикова завернула за угол и пошла по улице Свердлова и немного отошла от угла, в это время снаряд попал в керосиновую лавку (это просто маленький эпизод).

Талоны на эвакуацию мы не получили — их не хватало. Тогда мы решили собраться и идти в порт. Говорили, что люди и без талонов уезжают. Мы несколько раз ходили в порт, но у нас ничего не получилось. В порту была жуткая паника. Пароходы брали штурмом. Действительно, там уже ничего понять было невозможно — у кого есть талоны, а у кого их нет. Давили, буквально, друг друга. Приходили семьями, а во время посадки из-за такой паники в семьях теряли друг друга — кто попадал на пароход, а кто оставался в порту. Матери во время посадки теряли детей. Вокруг только и было слышно: «Где моя мама?», «Саша, Леночка, где вы?». Крики, плач, а тут еще беспрерывные налеты, тревоги. На земле валялись вещи, сумки, чемоданы. Эвакуироваться можно было морем , и то через Керченский пролив. Все вокруг уже было оккупировано немцами. Одесса была в окружении, но держалась. Море тоже подвергалось беспрерывным обстрелам, бомбили пароходы. Были потоплены пароходы «Ленин», «Днепр» и другие.

Очень много одесситов пошло пешком в Николаев. Но немцы уже оккупировали Николаев, и многие очутились в оккупации еще до взятия Одессы. А Одесса еще держалась в окружении до 16 октября. В последние недели перед оккупацией жители Одессы строили баррикады. Предполагалось, что Одессу просто так не отдадут, и готовились к уличным боям. Мы с ребятами также к этому были готовы. Просто не верилось, что Одесса будет сдана без уличных боев.

Но утром 16 октября разнесся слух, что немцы уже подходят к городу. Около 12 часов дня многие соседи стояли во дворе и в подъезде. У всех на лицах был страх. Железные ворота нашего дома были закрыты. И вот мимо ворот нашего дома стали проходить колоннами румынские войска. В воротах было специальное окошечко (для дворника), и мы поочередно смотрели через это окошеч-

ко. Войска шли долго, а затем все стихло. Все говорили шепотом, а потом разошлись по квартирам. Русские и украинцы на дверях своих квартир нарисовали мелом большие кресты. Вечером, когда стемнело, прибежал к нам незнакомый мальчик и сказал: «Ваш батько находится в порту, а мий батько его сховал, и вам надо пийты и забрать его, бо вин ранен». Мама велела мне сидеть дома с сестричкой, а сама с соседом и этим мальчиком пошла за отцом, но я побежала за ними. Мы привели отца домой. Всю ночь мы не спали. Отец был ранен в плечо и ногу. Поздно вечером к нам зашла Лизочка (соседка) и сказала, что завтра из Одессы начнут выгонять евреев. Мама срочно приготовила корзинку с продуктами, чтобы взять их в дорогу.

Утром 17 октября во двор нашего дома вошли румыны. Старший остался стоять внизу, во дворе, а солдаты, по двое, побежали по всем парадным и стали кричать: «Жидлан, коммунист, выходи». Румыны вошли и к нам в квартиру. Наша квартира была трехкомнатной. Сначала румыны вошли в переднюю, а затем в гостиную. Они приказали всем нам встать лицом к стене, руки за голову. После этого они стали хватать все, что могли положить в карманы, а затем выгнали нас во вторую комнату, в спальню. Но из спальни один из румын вышвырнул родителей и сестренку в третью комнату (детскую), а меня задержал. Второй румын остался со мной. Я стала звать на помощь маму, но румын меня не выпускал. Мама стала громко кричать: «Отпусти ее!» В это время прибежал еще один румын и стал их ругать и кричать: «Футуз паштыля мыты, репеде, репеде!» Нас всех выгнали во двор. Проходя мимо квартиры бабушки Фабрикант (имени ее не помню), я слышала ее истерические крики. Так как дверь была открыта, то я увидела, что парализованный дедушка Фабрикант лежит на полу. Он был парализован, а румы-

ны стащили его с постели и сбросили на пол. Затем, когда они поняли, что дедушка парализован, то разрешили ему остаться, а остальных выгнали во двор, а затем на улицу. На улице уже было много народу, так как выгоняли из всех домов. Вся улица была заполнена людьми, и нас погнали на Куликовое поле. Мы с мамой поддерживали папу с двух сторон. Мама, вспомнив, что происходило до этого в квартире, велела мне надвинуть платок на лоб и сгорбиться. Нас пригнали в садик перед Куликовым полем. В основном это были старики, дети, женщины. Нас согнали в толпу, и было тесно, как сельдям в бочке. Нас окружили солдаты с пулеметами. Стояли долго, была жуткая тишина. Даже маленькие дети не плакали, как будто они понимали. Один солдат стоял возле нас и сказал: «Сарака фанта ламине есты, — и показал на сестричку, — уно, доу, трио, патры, чинг» — и показал пальцами. И мы поняли, что он нас жалеет. Мы его стали спрашивать жестами: «Куда они нас поведут?» Показывали на пулеметы, спрашивая, расстреляют ли они нас здесь. Он стал нас успокаивать и сказал, что нас скоро поведут «ла паспорт ла штамп» (зарегистрируют), а потом «ла каса» (домой). Мы простояли примерно три-четыре часа, но присесть нам не разрешали. Все ждали, что нас расстреляют. А потом нас погнали и привели во двор нового дома, который был построен перед войной. Там уже находился народ.

Это называлось «пунктом». Дом находился на углу улиц Чкалова и Пушкинской, и были выходы на обе улицы. Ворота на улицу Чкалова были закрыты, а в подъезде стоял стол. За столом сидели один или два румына и регистрировали всех. К ним стояла очередь, и люди старались скорее зарегистрироваться, чтобы уйти домой. При регистрации отбирали паспорта, и когда зарегистрируют сто человек, то их под конвоем отправляют.

Но куда? Румыны говорили «ла каса» (домой). Они также говорили, что регистрация проводится для выдачи новых паспортов. Очень хотелось в это поверить, и каждый стремился побыстрее зарегистрироваться. Мама тоже хотела побыстрее зарегистрироваться, но я ее умоляла подождать. Каждый раз пригоняли новых людей, и не было заметно, когда кого пригнали. Так мы пробыли несколько суток на этом пункте. Я уже писала, что ворота со стороны улицы Чкалова были закрыты и там проходила в подъезде регистрация. В воротах со стороны Пушкинской улицы стояла стража. На первом этаже в нескольких квартирах размещались офицер и солдаты. Все, что происходило на этом пункте, я не смогу передать, хотя и помню очень многое. Но постараюсь.

Двор был небольшой, а народу много. Люди были разного возраста, начиная с грудных детей и кончая глубокими стариками. Во дворе был подвал с сараями жильцов. Люди открыли все сараи и стали все из них вытаскивать: старые ведра и кастрюли, матрацы, стулья, табуретки, бревна. В этих сараях, кроме топлива, хранили старые вещи. Все это вытаскивали во двор, чтобы можно было присесть и дождаться своей очереди на регистрацию. Румыны редко бывали во дворе: в основном только те, кто нес в это время караул или занимался регистрацией в подъезде.

17 октября, когда нас пригнали, была хорошая погода, а к вечеру пошел дождь, и в первую ночь спрятаться от дождя было негде, так как все сараи были забиты людьми и первую ночь мы просидели на бревнах во дворе под дождем. Утром дождь прошел, и стало солнечно, мы немного согрелись и подсохли. Регистрация продолжалась…

Когда пригоняли новую партию, то мы спрашивали: не видели ли они людей, вернувшихся домой после регистрации? Но никто их не видел, они исчезали бесследно…

Поэтому я сказала маме, что надо продержаться, а на смерть мы всегда успеем.

Все время пригоняли новые партии, и во дворе всегда было много народу. Но несмотря на это стояла тишина, все говорили шепотом, даже дети не плакали и не шумели.

Иногда слышишь: называют фамилию и говорят, чтобы подошли к воротам; это значит, что кто-то принес передачу. Это приносили передачи русские, украинцы — соседи, друзья, подруги — и передавали их через ворота по улице Чкалова, где висел замок, а передачу просовывали через решетчатые ворота. Но если солдаты это замечали, то они прикладами отгоняли узников.

Еще я помню такую картину. Старики надевали на себя молитвенную одежду и стояли лицом к стене, держа в руках молитвенники, и молились, чтобы их спас Бог. Но… это было сильнее Бога…

Вот я сейчас пишу и отчетливо вижу всю эту картину и чувствую всю ту атмосферу. Но передать это невозможно — в воздухе стоял запах смерти.

Рано утром 18 октября мужчин окружили румыны и даже без регистрации стали гнать их со двора. Вот тут поднялся вой — женщины, дети стали кричать, плакать, прощаться. Румыны начали бить прикладом всех подряд. Мужчины, которых выгнали, были в основном мальчишками и пожилыми. Тут все поняли, и даже те, которые надеялись на регистрацию, что спасения нет. Отец протянул к нам руки и хотел попрощаться, но румын ударил его прикладом и их всех выгнали. А женщины и дети продолжали кричать. Тогда вышел офицер с переводчиком из румынских евреев и сказал, чтобы немедленно стало тихо, а мужчин вечером пригонят обратно, так как их повели разбирать баррикады. А регистрация продолжается, и родственники могут зарегистрировать и мужчин. Народ успокоился.

После отправки очередной партии людей стало свободней в сараях, и мы вошли в сарай. Мама нас там покормила — дала картошку и по кусочку хлеба. Вода была во дворе, так как в Одессе в каждом дворе были уборная и вода в колонке. Мы до вечера не выходили из сарая. Вечером пригнали обратно мужчин. Мама вышла во двор, отыскала папу и привела его в сарай. Папа нам рассказал, что они разбирали баррикады и когда их гнали обратно, то один мальчик пытался убежать, но его застрелили. Я спросила отца, что делается на улицах. Он сказал, что там все тихо, народу на улицах мало, в основном немцы и румыны, а два раза мимо них гнали под конвоем евреев.

Утром следующего дня опять повторилась та же картина — мужчин выгнали на разборку баррикад, но криков уже не было. Некоторые опять стали верить, что после регистрации они вернутся домой. Ведь офицер не обманул, мужчин вернули. Мама мне рассказала об одной женщине, которая говорила, что она подкупила караульного, пошла домой и кое-что принесла из одежды и еды. Мама решила также попробовать, может быть, ей это удастся. Я стала ее просить, чтобы она этого не делала, так как я боялась расстаться с мамой, а сестричка стала плакать. Мама сказала, что кушать уже нечего, а папа придет и его надо накормить. И мы с сестренкой замолчали, так как у нас в семье было принято проявлять уважение к родителям. Особенно мы уважали папу («папа сказал», «это папино место» и т.д.). Но мы с сестренкой папу не боялись, боялись больше маму, так как она была построже. А папа был очень, очень добрый. Все мои подруги — Лиля, Бетя, Муся — очень любили его. (Лиля уже умерла, Бетя живет в Алма-Ате, Муся — в Ижевске с семьями. Мы переписываемся, а Муся с мужем несколько раз была в гостях у нас.) Мои подруги называли его ласково по фамилии

«Шмуленька», а племянники обращались к нему «дядя Шмулевич». Его все называли по фамилии. Это было вызвано тем, что в годы Гражданской войны отец работал в подполье и был одним из организаторов одесского комсомола и к нему все обращались по фамилии. И мама его знала только по фамилии и привыкла к этому, но при нас она называла его папочкой. Я и мои подруги любили его слушать. Он очень много нам рассказывал про революцию. Его в доме, на работе и даже по всей улице Свердлова знали. Если у кого какая беда, то шли к Шмулевичу.

Когда пригнали очередной этап и стало снова много людей, то маме удалось подкупить румына, стоящего у ворот на Пушкинской улице (оказалось, что румына подкупить нетрудно, но бежать было некуда). Мама сходила домой и принесла всем нам теплую одежду, зонты и еду. Уже стало холодно и пошли дожди — ведь было уже 19 октября. Мама рассказала о слухах, что людей из пунктов этапом выгоняют за город в специальные лагеря — гетто — и они там будут находиться. А в Одессе евреи не будут иметь права жить. Мама стала успокаивать, что нас не расстреляют. Мама также принесла из дому бинты, вату и йод. Когда пригнали папу, то мы в сарае обработали его раны и перевязали. Мама принесла папе белье и рубашку, и ему стало легче.

Я хочу теперь рассказать о бессарабских евреях. Когда началась война, то очень много бессарабских евреев бежало от немцев в Одессу и у нас в городе появилось очень много беженцев, что осложнило эвакуацию одесситов. Я уже говорила, что из Одессы можно было эвакуироваться только морем, так как все вокруг уже было занято немцами. Часть бессарабских евреев смогла эвакуироваться, а большинство их оказалось в оккупации вместе с одесситами. Когда нас 17 октября выгнали на пункт, то одновременно с одесситами там находились и бессарабцы, но их не регистри-

ровали, как одесситов, и многие им завидовали. Я помню, что на пункте румынские солдаты ежедневно объявляли, что румынские евреи должны собраться возле ворот без регистрации. Все говорили, что они своих отпускают. А потом, когда я уже была дома, то наша соседка (русская) рассказала, что 8 тысяч бессарабских евреев загнали в пороховые склады на 3-й станции, установили вокруг пулеметы, взорвали склады, а пытавшихся бежать расстреляли.

В ночь с 21 на 22 октября в здании НКВД было совещание немцев и румын по случаю взятия Одессы, на котором присутствовало большое начальство, и партизаны взорвали это здание. Говорили, что почти все погибли. Начался террор. По всему городу был вывешен приказ о том, что за одного румына будет расстреляно 100 заложников, а за одного немца — 200 заложников. Эта различная «цена» объяснялась тем, что немцы считали румын «низшей расой» и, например, немецкий солдат мог ударить румынского офицера. 22 октября на нашем пункте выгнали, как всегда, мужчин на разборку баррикад, и больше никогда мы папу не видели. В это же утро на пункт пригнали очень много русских мужчин — заложников. Русских и украинских женщин и детей не трогали. 22 октября двор пункта выглядел наподобие большой клетки, заполненной разъяренными дикими зверьми. Я уже говорила, что на пункте, не сговариваясь, говорили шепотом, но когда пригнали русских мужчин — заложников, то картина стала противоположной. Не то что они громко говорили — они кричали, буквально выли. Потом прибежало много их родных — жены, дети, матери облепили ворота с наружной стороны (ворота был и на замке) и тоже кричали, плакали. Вот такая была картина.

Сейчас, столько лет спустя, я почувствовала и поняла, почему был такой контраст: от шепота до крика. Ведь евреи,

которые, по несчастью, остались в городе, знали, что они обречены, что немцы их в живых не оставят и поэтому както внутренне к этому были готовы. Хотя каждый надеялся, что произойдет чудо — ведь так уж создан человек, что пока он живет, то надеется. Русское население тоже знало, что евреев немцы уничтожают. Многие русские говорили: «А что мне бояться: я не еврей и не коммунист, пусть они боятся». И действительно, в первые дни до террора забирали евреев и коммунистов. И вдруг стали так неожиданно забирать русских и украинцев, и они оказались за одной решеткой с обреченными и, естественно, они завыли.

Я стояла во дворе вблизи ворот и вдруг увидела Аню Долгову. Она стояла с наружной стороны ворот на улице и пыталась кого-то найти. Я пробралась к воротам, и она заметила меня и сказала: «Женя, и ты здесь? Ты не уехала?» В первый раз за все время у меня потекли слезы. Ведь я Аню хорошо знала: я дружила с Бетей, а Аня жила с ней в одном доме и тоже была нашей подругой, и никакой разницы между нами не было… А теперь мы стояли друг против друга, только она на свободе у ворот в безопасности, а я тоже стояла у этих же ворот, только с другой стороны, обреченная, не зная, за что, за какие преступления меня должны убить. Мне так стало обидно, и поэтому у меня потекли слезы.

За что? За что? Почему меня, маму, папу, сестричку должны уничтожить без всякой вины? Что мы сделали? Неужели только за то, что мы евреи? Мы все, обреченные, знали, что умрем, что фашисты нас в живых не оставят. Но все же надеялись, что наши придут и освободят. Не может быть, чтобы война продолжалась долго. Ведь Гитлер напал внезапно, не объявляя войны, но теперь наши соберут все силы и дадут отпор фашистам. Многие, в том числе и я, думали так. Только продержаться, только продержаться! О поражении никто не говорил,

и ни у кого в мыслях не было, что Гитлер победит и нашей Советской страны не будет. Просто нужно время, и Сталин не даст нам погибнуть. «Пройдет немного времени, и Сталин их уничтожит». Ведь недаром в песне поется:

Если завтра война,
Если враг нападет,
Если темная сила нагрянет,
Как один человек, весь советский народ
За свободную Родину встанет.
На земле, в небесах и на море
Наш напев и могуч и суров:
Если завтра война,
Если завтра в поход —
Будь сегодня к походу готов!

Так пели, и так все знали, и так были воспитаны. Вместо Бога нам дали Сталина, с именем Сталина люди погибали, с именем Сталина люди побеждали, с именем Сталина солдаты бросались на амбразуры.

Но я отвлеклась и теперь продолжу повествование. Аня пришла к подруге и принесла ей передачу. Мне же она сказала, что пойдет домой, а завтра утром и нам принесет кое-что поесть. Она ушла, а я маме рассказала все об этой встрече. Я сказала маме, что если удастся, то я с Аней убегу. Потом я подошла к Рае с нашего двора (она была старше меня и уже училась в институте) и предложила ей попробовать завтра убежать и рассказала свой план. Но она сидела обреченная и сказала, что никуда она не пойдет: «Что будет со всеми, то будет и со мной». Я ответила: «Со всеми будет смерть, и давай попробуем, ведь терять нечего». Она мне ничего больше не ответила и впоследствии погибла вместе

со всеми. Моя сестричка все время и до последнего дня не хотела расстаться с мамой. А мама, как чувствовала, все время гнала меня от себя. Видно, материнское сердце ей подсказывало, что, может быть, я останусь жить.

Мы весь день сидели во дворе или спускались в сарай, но держались все время вместе: я, мама и сестричка. Мы все дни делали так: занимали очередь на регистрацию, а когда очередь приближалась, то уходили в сарай. Потом же, когда отправляли очередную партию, то опять занимали очередь. Людей каждый день пригоняли, и русских заложников тоже.

Вечером подошел ко мне переводчик из румынских евреев и сказал, чтобы я попыталась спрятаться где-нибудь, так как офицер велел ему привести меня ночью к нему. Переводчик рассказал мне о том, что он каждую ночь приводил к нему молодых женщин, которых офицер днем высматривал, а сегодня «он велел привести тебя, но мне тебя жалко, ведь ты же еще девочка». Я его поблагодарила, а сама вся дрожала и умирала от страха. Мысль о смерти уже была привычна, тем более что я была в окружении обреченных людей. А вот попасть в лапы врага, который будет над тобой глумиться… И вообще для меня это было самым страшным, страшней всего, страшней расстрела, голода, побоев. И мама тоже считала так. Наверное, современная молодежь, прочитав эти строки, не поверит в мою искренность или скажет: «Ханжа». Но я пишу правду. Видно, сказывалось и воспитание, и общий фон того времени. Я стояла и думала, что же мне делать. Страх был ужасный, и описать мое состояние невозможно. Я почувствовала себя совершенно одинокой, и даже мама не сможет меня защитить. Правда, 17 октября был подобный эпизод, но испуг был мгновенный и я опять оказалась с родными. А тут впереди целая ночь, и я совершенно одна. Я вошла в уборную и долго там пробыла. Сначала я решила, что

всю ночь просижу там, но вдруг услышала чьи-то шаги. Я притихла, а затем вышла из уборной. Я не знала, что делать. Потом решила — пойду к маме, а когда придут за мной, то побегу к воротам и буду кричать. Все равно, в руки им не дамся. Я буду кричать, кусаться, пусть меня застрелят. Когда я приняла такое решение, то даже успокоилась и пошла к матери. Когда я спустилась в подвал, то надо было пойти направо, но я увидела впереди узкий коридорчик, который раньше не замечала, так там людей не было, и я пошла по этому коридорчику, держась за стены. Я на ощупь наткнулась на забитые доски, а она доска была оторвана снизу. Когда я протянула руку, то почувствовала, что за забитыми досками находится свободное пространство. Там оказались ящики, в одних был, по-видимому, песок, а в других — что-то помягче. Я решила туда забраться — отодвинула доску и стала протискиваться. Я была очень худенькой, и, конечно, мне это удалось. Залезла я в ящик: он был неполный и в нем было что-то мягкое, как мука. Потом я сдвинула изнутри доску на место.

Я просидела там всю ночь, но мама об этом ничего не знала. Обычно румыны в подвал не спускались, но тут я вдруг услышала румынскую речь и увидела мелькание света от фонарика. Я сидела, дрожала и ждала, чтобы скорей настало утро. Под утро я, по-видимому, заснула. Когда я очнулась, то уже было светло. Мне не верилось ,что я жива, и я боялась выйти, но это нужно было сделать. Я вылезла из ящика и оказалась в коридоре, но людей там не было. Я пошла к выходу и только тогда увидела, что вся испачкана в белом. По-видимому, в ящике был мел. Я сняла пальто и стала его, насколько смогла, оттирать от мела. Потом я вышла наверх и пошла в уборную, где была вода. Я намочила платок и, насколько смогла, привела себя в «божеский вид» (если так это можно назвать). Потом я пошла к маме.

Это было уже утро 25 октября. Когда мама меня увидела, то она расплакалась: «Где ты была? Я уже думала, что тебя никогда не увижу». Я ей все рассказала, как меня предупредили и что было… Мама рассказала, что всю ночь румыны с фонариками кого-то искали, «вероятно, тебя». Мама велела мне сидеть и не подниматься наверх, потому что румыны могут меня схватить. Я сказала ей, что должна прийти Аня и что мне больше оставаться здесь нельзя, а когда придет Аня, я попытаюсь подкупить румына и выйти. Но куда? Но в этот момент об этом не думалось. Мы поднялись наверх. Ждать пришлось недолго, и я увидела Аню. В это время пригнали людей. Я подошла к воротам, и Аня передала мне еду. Я сказала ей, чтобы она подошла к воротам на Пушкинской улице, а я постараюсь откупиться. Я отдала передачу маме, а она дала мне кулончик. Я сказала, что если выйду, то проберусь домой. Я поцеловала маму, ведь мы постоянно, каждую секунду, прощались друг с другом, и пошла к воротам на Пушкинской улице.

Идти туда я боялась, так как должна была пройти мимо окон, где находились солдаты и офицер. Но другого выхода не было, ведь оставаться было хуже смерти: пусть лучше застрелят за побег, и я пошла. Мне казалось, что вот сейчас меня схватят. Но я спокойно прошла, и никто не обратил на меня внимания. Выйти можно было только через ворота на Пушкинской улице. Там уже стояла Аня, и она стала просить, чтобы румын разрешил ей пройти в подъезд, так как она хочет со мной поговорить. Солдат впустил ее. Мы постояли с Аней, и я дала солдату кулончик и сказала, что пойду «ла каса» (домой), возьму поесть и одежду, так как холодно уже стало, а потом приду обратно, ведь здесь моя мама. Объяснялись мы руками.

И вдруг я вижу, что вышел офицер, остановился у дверей и, как мне показалось, смотрит на нас. Я испугалась

и подумала — ну, все пропало. Я все же решила пойти с Аней на улицу — пусть стреляет. Ане я ничего не сказала, и мы вышли. Описать мое состояние невозможно. Когда мы с Аней вышли и пошли в сторону улицы Воровского, то мне показалось, что выстрелили и я упала. Когда мы выходили, то офицер видел меня. Я до сих пор не могу понять, почему он меня не задержал. Мне казалось, что он меня узнал. Так почему он меня отпустил? Это для меня на всю жизнь осталось загадкой. Но мне терять было нечего, так как если бы я осталась, то, наверное, они меня ночью опять бы искали. Когда я выходила, то была уверена, что меня сейчас застрелят как беглеца. Но лучше так, чем ночью попасться офицеру в лапы.

Я решила дойти до улицы Воровского и по ней пойти домой. Мне казалось, что на этой улице тише, чем на улице Чкалова. Аня жила на улице Чкалова. Когда мы вышли из ворот, то я попросила Аню, чтобы она дошла со мной до улицы Воровского, так как одной было опасней. Мы дошли до улицы Воровского, несколько минут постояли там. Она мне рассказала, что Фира живет с мамой и братиком у себя дома и их не трогают. И евреи не только во всем доме, но и во всем квартале спокойно живут, и их не выгоняют. (О Фире я расскажу отдельно.) Аня сказала мне: «Фира многих прячет у себя. Может, и ты пойдешь к ней? Мне кажется, что она тебя впустит. Попробуй». Я обрадовалась, но сказала, что сейчас попробую незаметно пробраться домой, взять кое-что из вещей и переодеться, так как я грязная, а потом нужно будет думать о маме с сестричкой.

Мы расстались — Аня пошла по Пушкинской улице домой, а я направилась к себе домой. Я шла и шептала про себя: «Только бы во дворе никто не заметил, только бы пробраться домой». Когда я была недалеко от дома, вдруг ко мне подбежала какая-то женщина и стала кри-

чать: «Смотрите, православные, — она еще разгуливает! Моего бедного мужа взяли заложником, а эта гадина на свободе!» Она схватила меня за волосы, стала бить и звать: «Патруль, патруль!» Собрался народ, и, конечно, появились солдаты. Меня под конвоем отправили на Слободку, в гетто. Там в помещении бывшего общежития института водников находился тифозный изолятор. Положение было отчаянное, и я думала: «Зачем убежала? Теперь я одна, без мамы и сестрички. Все равно схватили, и никуда от них не денешься». Мне стало так жутко…

Когда меня пригнали в гетто, у ворот я увидела будку, где дежурили солдаты — охрана. Патруль передал меня охране, и конвоиры сказали, что схватили меня на улице. Вдали от входных ворот я увидела четырех— или пятиэтажное здание. Вся большая территория общежития была обнесена высоким забором. Здание находилось в середине ограждения, далеко от ворот. Солдат-охранник толкнул меня и велел идти к зданию. Я пошла, а он стал бить ремнем по голове, и невольно я побежала. Он бежал за мной, все время бил меня по голове, по плечам, хохотал, ругался. Потом, уже в гетто, мне сказали, что они так всегда делают, когда приводят одиночек. Это они так развлекаются. В других местах, где находились евреи, они могли в любое время зайти, особенно когда напьются. Развлекались они по-разному: когда избивали, а когда насиловали. А тут, в гетто, был тифозный изолятор, они боялись заразиться тифом и поэтому в помещение не заходили. Им оставалось лишь единственное развлечение — избивать до подъезда.

В гетто был комендант, который назначал бригадиров из молодых бессарабских евреев-беженцев, которые знали румынский и немецкий языки. В обязанности этих бригадиров входили надзор за порядком, за соблюдением указаний оккупантов, сбор этапов.

Пригнали меня 25 октября. На втором этаже находились больные. Больных лечили врачи-евреи, находившиеся в гетто. Лечили больных только для того, чтобы эпидемия тифа не распространилась на оккупантов. Потом выздоровевших отправляли этапом на казнь. Выше располагались выздоровевшие и здоровые. Встретил меня бригадир, которого звали Изей. Он стал меня успокаивать и сказал: «Пойдем, покажу твое место». Поместил меня со здоровыми. Комната была битком набита людьми разного возраста. В основном там находились старики, женщины и дети. Все сидели на полу. Меня Изя поместил рядом с женщиной с дочкой лет семи — жителями Кишинева. У меня очень болела от побоев голова и все лицо опухло — глаз не было видно. Женщина намочила водой кусок материи и приложила мне к голове. Я им рассказала, что со мной произошло. Она, в свою очередь, рассказала, что когда началась война, то она со старшим сыном-инвалидом и дочерью эвакуировались в Одессу, к сестре. Сестру и ее детей с пункта отправили этапом, и их судьба ей неизвестна. Ее же с сыном и дочерью направили сюда. Сын умер от тифа, и ее к нему даже не допустили. Теперь она с дочерью ждут своей участи. Она говорила: «Мне ничего не нужно, только бы спасти доченьку». Она сказала, что бригадиру Изе отдала все, что имела, и он обещал договориться с русскими людьми, чтобы они спасли ребенка. Потом снова зашел Изя и велел мне выйти. Он сказал: «Я хочу помочь тебе. Через несколько дней будет отправлен этап в Ахмачетку — это лагерь смерти. Перед этапом я составляю списки. Но если у тебя есть ценности, то смогу оставить тебя. Все это я собираю для охраны». Я ответила, что у меня уже ничего нет. Он пожал плечами и велел идти на место.

Когда я вернулась, то женщина (ее звали тетей Идой) сказала мне: «Изя — страшный человек. Но когда он бе-

рет ценности, то слово сдерживает и не отправляет этапом. Но только до следующего этапа, и нужно каждый раз откупаться. Я надеюсь, может быть, он все-таки доченьку спрячет. А так как ты не можешь откупиться, то тебя отправят». Я спросила ее: «Что же мне делать?» Она рассказала, что некоторым удается бежать. Правда, это очень рискованно — как повезет. Если увидят — то пристрелят. Я ответила, что терять мне нечего. Тогда она объяснила, как можно бежать: от подъезда нужно незамеченной добежать до забора в то место, где стоит большой мусорный деревянный ящик. У ящика стоит перевернутое ведро. Следует встать на ведро, подтянуться, влезть на ящик, снова подтянуться и перевалиться через забор. Но опасность заключается еще в том, что охрана ходит вокруг забора, как внутри двора, так и снаружи. Если же охрана не заметит, то это еще не все. Нужно, чтобы никто из местного населения тоже не увидел и не выдал. Лучшее время для побега — когда охрана обедает и во дворе нет солдат.

Конечно, я всю ночь не спала, а утром тетя Ида сказала, что у меня отечность почти спала. Я ответила, что у меня ничего не болит. Теперь я понимаю, что у меня были напряжены нервы, я готовилась к побегу и поэтому не чувствовала боли. В напряжении я дождалась наступления обеда, проделала все, как научила тетя Ида, и мне удалось убежать. Я направилась домой, не зная, что меня ждет…

Когда в нашем дворе никого не было, то я пробралась домой, закрылась на ключ и тихо села на диван, не веря, что я дома. И только тогда я почувствовала, как сильно устала. Я вся дрожала, и у меня болели голова, руки, ноги и все тело. Я хотела подняться — ведь мне нужно было помыться и переодеться — но встать я не могла. Все шептала: «Сейчас встану, сейчас», а сама сидела, и все не верилось, что я дома. Ведь нас 17 октября выгнали из дома, а сейчас

уже 26 октября. Мне казалось, что прошла уже вечность. Сколько за эти дни пришлось уже пережить, сколько раз я думала, что меня расстреляют. А вот я жива, но надолго ли? Вот я сейчас сижу дома и не знаю, что может быть через минуту. Поэтому я сидела и наслаждалась минутами жизни. Я сидела и смотрела, и мне казалось, что все это я вижу впервые. Ах, как здесь хорошо, а ведь я здесь жила и какая я была счастливая! А теперь я не знаю, что будет со мной. Я нахожусь дома незаконно, ведь я не имею права здесь жить. А где? А нигде… Немцы считают, что раз я еврейка, то не должна существовать и, конечно, скоро меня не станет. А как хочется жить! Вот так я сидела и думала, а смерти своей не видела и незаметно уснула.

А под вечер пришли мама и сестричка. Мама рассказала, что ей повезло, так как тот караульный, который выпустил ее в тот раз, стоял в это время на посту. Она подошла и попросила, чтобы он отпустил ее домой переодеться, а когда она вернется, и ему кое-что принесет. Он ее выпустил, так как, вероятно, поверил, потому что она уже возвращалась.

Хочу пояснить, почему румыны иногда отпускали евреев за взятку. Это было связано с тем, что еще не всех евреев выгнали из домов. Ведь всех сразу уничтожить было невозможно. И поэтому румыны отпускали и брали за это ценности. Какая разница — днем раньше, днем позже. Все равно ни одного еврея не должно остаться в городе. Уничтожению подлежали и те, у кого мать или отец были другой национальности, даже в третьем поколении.

Поздно вечером мама спустилась на первый этаж к Фабрикантам. Бабушка очень плакала и стала просить, чтобы мы жили у них, так после того как румыны сбросили дедушку с кровати, он совсем не может двигаться и ей с ним очень трудно. Мама рассказала им, что они убежали из пункта и хотя Фабрикантам разрешили

жить дома, мы на это не имеем права. Бабушка сказала, что она в первый день откупилась и румыны еще несколько раз заходили и она все время откупается и будет делать это до тех пор, пока оккупантов не прогонят. Все надеялись, что Одессу скоро освободят. А Одесса была освобождена лишь 10 апреля 1944 г., то есть спустя два с половиной года. Мама пришла домой и все рассказала мне. Я сказала: «Какая разница, откуда нас выгонят? Давай спустимся. Жалко их». (Мы жили в одной парадной, только наша семья на третьем этаже, а они на первом.)

Итак, мама, я и сестричка Адочка стали ночевать у них в маленькой комнате. Спали все втроем на одной кровати. Правда, кровать была большая. Мама самое необходимое принесла из нашей квартиры. Бабушка Фабрикант сказала, что у них уже не осталось еды. Мама решила, что утром она пойдет на Привоз, возьмет с собой вещи и, может быть, обменяет, а может, и продаст и тогда купит продукты для всех нас. Я стала ее просить, чтобы она не ходила, так как бабушке говорила Лизочка (соседка), что немцы на базаре ловят женщин-евреек, отрезают им груди и издеваются до тех пор, пока они не умрут страшной смертью. Немцы евреек не насиловали, не хотели мешать свою арийскую кровь с иудейской. Я сказала маме, что пойду сама, так как на меня меньше обратят внимания. Наконец, мама согласилась.

Мне дали вещи для продажи, а лучше — для обмена. Когда я шла на базар, то должна была пройти мимо вокзала. Когда подходила к вокзалу, то издалека увидела, что напротив вокзала возле ограды круглого садика стоит очередь. Я решила подойти и узнать, что там продают. Когда стала переходить дорогу, то увидела, что там — люди висят! Это была виселица. Я остановилась, но навстречу шли немцы. Тогда я повернулась и пошла к базару. Я шла и не видела ничего перед собой: перед глазами стояло

одно — виселица. Вдруг я услышала, что кто-то кричит — это была женщина. Она кричала, что я хожу как слепая, наталкиваюсь на всех, и толкнула меня. Я упала, и меня кто-то поднял, собралась толпа, и начали кричать. Кричали на эту женщину, и она тоже кричала. А я ушла, прошла через базар до выхода на улице Красной (ныне Советской) Армии, после чего пошла другой дорогой домой.

Когда я пришла домой, то сказала, что на базаре было много патрулей и поэтому ничего не купила. Я не сказала о том, что видела. Мама мне дала горячего чая. Я выпила его и пошла в маленькую комнату, легла на кровать и сразу уснула. Спала, по-видимому, недолго. Когда я проснулась, то у меня перед глазами стояла виселица. И вдруг я увидела папу. Все повешенные были раздеты. В маленькой комнате было темно, ставни были закрыты, а свет я не включала. Я стала всматриваться в темноту, очень ясно увидела виселицу и повешенных людей. Это были мужчины. Я лежала и всматривалась в темноту и все ясней видела своего папу. У них на шее висели таблички. Больше я не в силах была лежать и встала. Мне казалось, что я схожу с ума. Но эта виселица не исчезала из моих глаз. Я себя уговаривала, что, конечно, это не папа. И тут у меня появилось желание — пойти на пункт и посмотреть: а вдруг папу опять пригнали и он там. Я сказала маме, что хочу пойти поискать папу: а вдруг он на пункте. Мама ответила, что она об этом тоже думала, но боится меня одну отпускать. Я опять стала ее уговаривать: я уже сегодня ходила, на меня не обращают внимания и много таких ребят ходят по улицам и их не останавливают, так как проверяют документы только у взрослых. Следует отметить, что когда началось это несчастье, то евреи очень опустились и их на улице можно было узнать. Поэтому я привела себя в порядок. Я была очень худенькая, а за это время еще больше

похудела и выглядела совсем девочкой. Мама согласилась, дала мне сахар, испекла лепешки и дала также часики, чтобы я смогла выкупить папу. Я сказала, что если они меня схватят, то я откуплюсь и пусть она не волнуется.

Я пошла. Колесила переулками, а потом прошла мимо ворот пункта, выходивших на улицу Чкалова. У ворот, как всегда, стояло много людей, приходивших на свидание к русским мужчинам-заложникам. Ворота были железные, в фигурных решетках (они и сейчас стоят). Я сразу к воротам не подошла, а дошла до улицы Ленина и потом вернулась. Наконец, решилась и подошла к воротам. Протиснулась к решетке, но ничего не смогла рассмотреть — там было много народу. Я хотела найти знакомых и что-нибудь узнать. Но никого не увидела. Попросить чужих поискать боялась — не знаешь на кого нарвешься: папе не поможешь и сама туда попадешь. И все же нужно было решиться. Я подошла к девушке, которая пришла на свидание к отцу-заложнику (русскому), и попросила, чтобы ее отец помог мне найти человека, и назвала фамилию моего отца. Она согласилась и велела мне встать подальше от ворот, для безопасности, и не бояться, так как она меня не выдаст. Я дала ей сахар и лепешки для передачи моему отцу, а затем пусть они вместе подойдут к воротам на Пушкинской улице. Я обещала дать ей часики, чтобы попытаться выкупить наших отцов. Она сказала, что все так и сделает. Чтобы не бросаться в глаза людям, я стала ходить по улице Чкалова до улицы Ленина и обратно. Потом подошла эта девушка и сказала, что все передала своему отцу и он долго искал и звал по фамилии, но никто не отозвался. А ее отец сейчас подойдет к воротам на Пушкинской улице. Девушка еще сказала, что у нее ничего нет, чтобы выкупить своего отца. Я ей дала часики — я не могла поступить иначе. Издалека наблюдала, как они

вышли из ворот и направились к улице Воровского. Девушка махнула рукой, чтобы я шла за ними. Когда я подошла к ним, то ее отец не знал, как меня отблагодарить. Девушка отдала мне лепешки и сахар, а ее отец сказал, чтобы я пошла к ним домой. Я ответила, что меня ждут мама и сестричка и что мне нужно искать папу. Он дал мне адрес и сказал, что я ему жизнь спасла и если мне станет очень тяжело, то чтобы я к ним пришла и он постарается меня спрятать, а потом отвезет в деревню. Я поблагодарила, и мы расстались. Таким образом, у меня в запасе на спасение было уже два варианта — Фира и эти люди.

Пришла домой и сразу записала адрес этих людей, чтобы не забыть. Маме я рассказала обо всем. Мама стала очень плакать — ведь папы уже нет. Я ее успокаивала и сказала, что узнаю, где еще есть пункты, и буду там искать папу.

Кушать у нас ничего не было, и утром я снова пошла на Привоз, но только другой дорогой. Я стала понемногу привыкать к новой жизни и ходить по улицам, но всегда была очень внимательной. Мне удалось обменять отрез и платье на несколько килограммов чечевицы и лук, а за туфли мне дали марки, на которые я купила подсолнечное масло, и пошла домой. Меня долго не было, и мама очень обрадовалась, что все обошлось. Мама сварила чечевицу, а бабушка Фабрикант научила делать салат из лука. Но где папа, мы не знали. Потом к бабушке Фабрикант зашла Лизочка и сказала, что ее мужа Шойлыка повесили с Леней Губерманом, которому было всего 16 лет, мужем ее сестры и нашим папой. Она сказала, на каком месте их повесили. Тогда я поняла, что все же видела папу среди повешенных у ограды садика напротив вокзала. Она еще раз приходила, и мы поняли, что она сошла с ума. Она нам много рассказывала и все хохотала… Говорила, что ее Шойлык дома и что она уложила его спать и чтобы мы не крича-

ли, а то он может проснуться. Мама ее накормила, и мы просили ее остаться, но она сказала, что Шойлык лежит на улице и ему холодно. Она стала меня тащить, чтобы я пошла с ней, так как мой папа тоже там лежит, им очень холодно и они ждут, когда мы их заберем. Удержать мы ее не смогли, она ушла, и больше я никогда ее не видела.

Немцы снимали повешенных с виселиц, клали их на перекрестках, а у жертв на шее были таблички: «За взрыв», «За поджог». Подойти к ним было нельзя: тут же застрелят. Когда начался террор, то по каждому кварталу ходило по семь солдат-румын, а в конце каждого квартала стояло по два солдата-румына, и они проверяли документы. Нам казалось, что все войска заняты только тем, чтобы вести войну с евреями и коммунистами. В течение этого времени румыны приходили к нам во двор, ходили по еврейским квартирам, вскрывали их и грабили. Однажды пришли румыны и выгнали нас, а когда они ушли и мы вернулись, то увидели такую картину: все было разбросано, валялись пустые глиняные банки (в них было варенье), на полу лежала простыня, на которой было нагажено.

В ноябре 1941 г. вышел приказ о том, что все люди еврейского происхождения, независимо от возраста, должны явиться на Дальник. На сборы дали два дня. После этих двух дней ни один еврей не должен был оставаться в городе.

Мама стала собираться. Она приготовила для каждого узелок, сшила вещевые мешочки и приготовила длинные ручки, чтобы можно было их повесить на плечо. Я старалась оттянуть время и просила ее, так же как на пункте, не спешить и пойти попозже. Мама боялась и говорила, что если они узнают, что мы еще дома, «так они…» Я ей сказала: «А что так..? Ведь все равно, мы идем на смерть. Ведь ты уже видела, что тех, кого выгнали этапом с пункта, уже никто не видел живыми». А мама ответила, что вместе лег-

че, а если нас погонят одних, то это страшнее. Я оттянула еще на полтора дня, мы у себя дома переночевали еще одну ночь — последнюю в нашей жизни в своем доме. С такими мыслями, прощаясь с домом, прощаясь с жизнью, мы вышли. Сестричка сказала: «Мама, мамочка, когда нас станут расстреливать, то обними нас покрепче». Сестричке было девять лет. Мама стала ее успокаивать и говорить, что нас отправят в лагерь и там мы будем жить. А сестренка говорила: «Нет, мамочка, прошу тебя, обними нас покрепче».

На четвертый день я, мама и сестричка вышли сами из дома. Попрощались с семьей Фабрикант, а бабушка нам рассказала, что приходила дворник и велела им уйти. Бабушка сказала, что муж парализован и она останется с ним до конца. Дворник ответила, что если хоть один еврей останется в доме, то ее повесят на воротах. Бабушка очень плакала, просто убивалась. Мама стала ее успокаивать: «Вот увидите, вас не тронут». Так мы вышли уже второй раз из дома, но только сами — «добровольно».

Мы решили пойти по улице Воровского. Сначала мы были одни и евреев не видели. Мама сказала: «Вот видишь, все уже ушли». Мне, правда, сначала стало страшно. Прошли мы несколько кварталов и увидели, как далеко по мостовой шла колонна, подобно демонстрации. Мы прибавили шагу и скоро очутились недалеко от колонны. Колонна шла по мостовой, со всех сторон ее окружал конвой, а на тротуарах стоял народ. Мы вышли сами, а оказались под конвоем. Когда мы подходили к колонне, то нас заметили солдаты. Они подбежали к нам и начали бить прикладами, заставили бежать к колонне и кричали: «Ай, ай, репеде, репеде!» («быстрей, быстрей!») Солдаты ругались: «Футуз паштыля, ши бесерека круче мыты» (перевод я знаю). Так мы оказались в колонне под конвоем. Когда мы прошли еще несколько кварталов, за это время

за нами оказалось уже много народу. Колонна была очень большой: не видно было ни начала колонны, ни ее конца. А румыны все кричали: «Ай репеде, ай репеде!» Почти вся колонна состояла из стариков, женщин и детей. Дети были грудные, по годику, два, три и т.д. Матери несли их на руках. Мы прошли уже большое расстояние, но румыны не давали нам отдохнуть и только подгоняли: быстрей, быстрей. Народ шел тихо, никто не говорил, никто не плакал.

Колонна шла по мостовой, а я в это время почему-то вспомнила, как со школой тоже по мостовой ходила на демонстрацию и как было весело 1 мая, сколько было цветов, все ребята были в карнавальных костюмах — наша колонна была колонной цветов. Много наших девочек в классе, Бетя, Лиля, Муся, Лида и другие, и каждая девочка была цветком. Все мамы с нами шили костюмы. Я была чайной розой. Шили костюмы из марли, марлю красили и крахмалили. Я была очень худенькой, а в Одессе тогда все дети должны были быть толстенькими, и мама очень переживала. Но по сегодняшним нормам я была нормальной. На голове у меня был веночек из цветов. А вокруг была музыка, было очень радостно и весело. Какие мы были счастливые и пели песни. Еще я пела в хоре в Одесском дворце пионеров. Наш хор выступал в Одесском оперном театре в сопровождении оркестра консерватории под руководством профессора Столярского (учителя Давида Ойстраха). Я также училась в студии художественного слова, находившейся вблизи института Филатова, и на каждом школьном вечере выступала с подругами. Ведь это было недавно…

Теперь я тоже иду по мостовой.., но по краям конвой, а на тротуарах стоят русские и украинцы. Я шла и смотрела на лица людей. Было много школьников, мужчин, женщин, стариков, все стояли и смотрели на нас. По всему пути стоял народ, и мы проходили как сквозь строй.

Я смотрела на ребят и все думала: «Но почему? Что это такое? Вот идут преступники, а народ смотрит, как их ведут на казнь. И среди них я, мои мама и сестричка! Чудовищно!» Мы шли, все устали, но румыны нас все время подгоняли. Несколько раз этап останавливали, но присесть не разрешали. Стоило только присесть, как румыны начинали ругаться, бить прикладами и ногами.

Вдруг я заметила среди людей, которые на нас смотрели, двух девочек из нашего класса. Когда я их увидела, то мне стало стыдно и я опустила голову, чтобы они меня не узнали. Я все не могла понять: почему люди стоят? Ведь мы все земляки, все из одного города, они стоят и смотрят, а нас гонят. Видела, что стоят женщины и плачут. Но были те, которые кричали: «Двадцать лет вы пили нашу кровь. Теперь пришла расплата». Они также кричали: «Бей жидов, спасай Россию. Пришел конец вам и вашей власти». Другие крики были в таком же роде. Многие врывались в колонну, вырывали из рук обреченных узелки и кричали: «Зачем это вам? Это вам уже не нужно — все равно вас ведут на расстрел». Это делали взрослые мужчины и мальчишки. В это время колонна как будто ожила: дети, взрослые начали плакать и кричать, а румыны били их прикладами. Многие падали, и тогда румыны били их ногами. Люди стали друг друга поднимать. Мама, я и сестричка поддерживали друг друга и помогали одной женщине с трех-четырехлетним ребенком, которого она держала на руках. Иногда мама и я давали ей отдохнуть. Когда нас останавливали, то мы спинами опирались друг на друга.

Так нас гнали на Дальник. По колонне разнесся слух, что вот еще немножко и скоро Дальник. А сестренка Адочка услышала и говорит: «Неужели скоро кончатся эти муки?» Потом нас опять остановили, но на этот раз мы стояли очень долго. Ноги гудели, мы находились уже

на окраине города. С правой стороны был длинный, на несколько кварталов, забор. Румыны велели колонне подойти к забору. Люди у забора сели на свои узелки. Хорошо, что в этот день не было дождя. Но когда мы сидели у забора, то стал накрапывать дождь. Мы очень долго сидели, вынули зонтики и какое-то еще маленькое байковое одеяльце.

Пока мы сидели, по колонне стали распространяться слухи. Говорили, что мы уже почти на Дальнике, но нас не пускают, так как там уже много народу, и это было правдой. Другие говорили, что ожидают офицера. Мы все сидели. Слава Богу, что нам разрешили сидеть. Потом нам велели подняться. Мы находились далеко от начала колонны, и тут первую (головную) часть колонны погнали, а нам снова велели сесть. Мы эту команду не слышали, но по колонне, по цепочке, все передавали. Таким образом, большая часть колонны попала на Дальник, а мы остались сидеть. Опять разнесся слух, что там переполнено и накопилось столько трупов, что они долго с ними не справятся.

Мы уже стали мечтать, чтобы скорее попасть на Дальник. Ведь медленно умирать очень тяжело. А умереть побыстрее — ведь это для нас было уже счастьем. И вдруг солдаты стали кричать: «Ла каса, ла каса!» («Домой, домой!»). Мы сидели, и никто не верил. Румыны стали нас поднимать прикладами и кричать: «Ла каса, ла каса, ай, ай. Антонеску дал приказ — всем ла каса». Но народ продолжал сидеть. Я хотела встать и пойти, ноги как будто отдохнули, но не слушались. Румыны, видя, что люди стоят, выругались и ушли. Мы остались одни, без конвоя.

Только тогда люди очнулись. Боже мой, что было! Люди вставали, кричали: «Антонеску дал приказ — домой!» Все плакали, обнимались. Возле нас сидела женщина. Когда мы поднялись, то увидели, что она сидит, облокотившись на забор. Мы только что с ней говорили, и она

нас угощала коржиками. Я нагнулась и начала ее будить, но она упала — была мертва. Потом, когда мы пошли домой, то видели, что много людей не поднялось. Наблюдала такую картину: лежала женщина, а возле нее сидел маленький ребенок и плакал. Мы подошли, думая, что женщине плохо, и хотели ей помочь, но она была мертва. Мы уже хотели взять с собой ребенка, но тут подошла молодая женщина с кружкой и сказала, что это ее сестра, ей стало плохо и она побежала и выпросила воду, но когда вернулась, сестра была уже мертва. Она кричала: «Что же мне делать?» Потом она схватила ребенка и убежала, оставив мертвую сестру. Все это было нормальным: ведь хоронить не разрешалось — мы были вне закона, ни документов, ни прав. Просто нас оставили, временно, жить.

Мы пошли домой. Это был первый и единственный день за все время фашистской оккупации, когда уцелевшие евреи так легко, равноправно и свободно шли по городу. Мы были свободны, равноправны, и нам не нужно прятаться. Ведь нам разрешили идти домой: «Антонеску дал приказ — всем евреям ла каса. И теперь мы будем иметь право жить у себя дома. Боже мой, неужели это правда, нас не убьют и мы сможем ходить куда нам захочется по городу, как все люди, не бояться издевательств и уничтожения». Вот так каждый думал и чувствовал. А навстречу шли люди и по-разному нас встречали.

Одни нам улыбались, плакали и поздравляли, а другие говорили: «Вот обрезанцы идут, оставили их на семя». Третьи говорили: «Как вас много — уничтожают, уничтожают и никак не уничтожат». Но кто это говорил, кто?.. Ведь это были наши земляки, ведь мы с ними жили в одном городе, общались, работали, учились, дружили. Ведь до войны не было никакой разницы между нами. Мы, дети, просто не знали, кто какой нации. В каждом доме

жили украинцы, русские, евреи, греки, и в домах Одессы, в основном, соседи очень дружно жили: громко кричали, как это свойственно южному темпераменту, но никогда не были злопамятны и всегда были милосердны. Никогда не было межнациональной вражды. Ходили все на Привоз, готовили «синенькие», кабачки, фаршированную рыбу, соус, компот, маринованную свежую килечку, украинский борщ. Украинцы, русские говорили с еврейским акцентом, а евреи — с украинским. В разговоре попадались русские, украинские, еврейские слова. Так что же произошло, и так сразу? Никак до сих пор понять не могу. Ведь война началась 22 июня, и до последней минуты, пока не пришли немцы, жили все дружно. И до оккупации тоже было очень тяжело: непрерывные бомбежки и обстрелы города, и всем было нелегко — война. Все подвергались каждую минуту равной опасности. Город сильно бомбили: немцы сначала бросали зажигательные бомбы, а потом фугасные бомбы и мины. Мина, падая, сносила целый квартал домов. Да, было очень тяжело, но люди до последних минут жили дружно и помогали друг другу. С первых дней начала войны все как-то сплотились, стали даже ближе, родней. Сначала немцы при налетах бросали зажигательные бомбы. Весь дом, по очереди, дежурил, и гасили пожары на крыше. Люди, взрослые и дети, строили баррикады. Мы тогда все проклинали Гитлера и говорили, что не могли ценить довоенное время. Ночами почти весь дом не спал. Спать было невозможно, так как особенно ночами бомбежка усиливалась и все время объявляли тревогу. Ночами люди мечтали: «Только бы кончилась война. Как мы все будем хорошо и дружно жить после войны». Народ Одессы строил баррикады и был готов к уличным боям, но это не произошло. 16 октября 1941 г. в Одессу вошли немцы, и, как я уже писала, сразу

же на дверях своих квартир русские и украинцы нарисовали мелом большие кресты. С этой минуты единый, многонациональный, дружный город, в том числе и наш дом, кончился: евреи стали вне закона. Я не думала об этом писать, я просто решила написать о себе, о моих родных и о людях, которые так страдали и были уничтожены без всякой вины, только за то, что они евреи. Но в ходе воспоминаний все всплывает в памяти, тянется цепочкой, разорвать которую невозможно. Да, я немного отвлеклась…

Как я уже говорила, оставшихся в живых евреев, которые не попали на Дальник, отправили домой, как говорили румыны, «по приказу Антонеску». Когда мы пришли домой, то мама и сестричка горько плакали, а я их успокаивала. Я говорила: «Хорошо, что пошли позже, так как те, которые ушли вовремя по приказу, — не вернулись». Мама сказала: «Мы остались живы, а папа...». Она поверила, что после приказа Антонеску мы останемся жить. Но я чувствовала, что все это временно.

Потом вышел приказ, чтобы все евреи пошили себе «могендовид» (звезду Давида, шестиконечную звезду) — это религиозный еврейский знак, как крестик у христиан. Крестик я знала, но о «могендовиде» до этого времени мне ничего не было известно. Необходимо было нашить на черный квадрат желтую шестиконечную звезду. Евреи должны были прикрепить этот знак спереди на груди и сзади на спине, чтобы было видно — по улице идет еврей. Мама пошила эти знаки всем: себе, мне и сестричке. Но я не носила этот знак, а держала его в муфточке, в карманчике. Так мы стали жить — меченые. Два дня просидели дома, так как боялись выйти на улицу. Но потом мама решила пойти на базар: керосин кончился и нужно было кое-что продать, так как у нас не было марок. Я боялась отпускать маму, но она сказала, что раз разреши-

ли жить, то ее не тронут. Мама ушла, и ее долго не было. Сестричка стала плакать: «Маму убили, и она уже никогда не придет». Я ее успокаивала, но сама тоже так думала. Так мы сидели, и я думала: «Вот папы и мамы уже нет. Теперь очередь за нами. Но что мне делать? Пока нам разрешили жить, то я буду всюду ходить с сестричкой и никогда ее одну не оставлю». Меня трясло, а сестренка перестала плакать и сидела как окаменевшая. Я ее обняла, стала успокаивать, что-то говорила ей, но она молчала.

Вдруг в дверь тихо постучали — пришла мама. Она была очень довольна, что смогла продать вещи, купить керосин и кое-что из еды. А мы сидели и молчали. Сестренка больше суток не сказала ни одного слова, только сидела, держалась руками за голову и раскачивалась. Так мы просидели дома еще два дня.

Потом мама еще раз решила пойти на базар и купить кукурузной муки для мамалыги. Кроме того, бабушка Фабрикант просила купить им продукты, так как у них тоже нечего было есть. Но сестричка стала просить, чтобы мама взяла нас с собой. Сестричка сказала, что нужно ходить всем вместе и умереть вместе. Но я ответила, что втроем мы больше будем бросаться в глаза. Мама успокоила нас и ушла. На этот раз она вернулась быстро, но вся избитая. Мама рассказала, что когда подходила к базару, то ее схватил какой-то мужик и стал кричать «жидовка». Он вырвал у мамы корзинку, где лежали вещи на обмен, сорвал шарф с головы, а все люди смотрели и никто не заступился. Он избил ее, и когда мама упала на землю, то стал бить ее ногами по голове. Потом подошел румын, велел маме подняться, выругался, велел ей уходить и разогнал толпу. После этого мама уже не ходила на базар. Я помогла маме раздеться, она умылась, я смазала ей ссадины йодом и наложила холодный компресс на голову, так как ее били по голове.

Утром я зашла к бабушке Фабрикант, и она сказала мне, что нужно купить, и я пошла на Привоз. Через вокзал я больше не ходила и старалась идти там, где потише. Пришла на Привоз, купила все, что нужно было, и сумела поменять вещи бабушки на продукты. На базаре продавали лепешки из гороха, супы. Я купила лепешки, подсолнечное масло, горох, семечки, лук, сахарин и пошла домой. Я встретила девочку Люду из нашей школы, которая сказала мне, что слышала, будто евреев больше убивать не будут, всех евреев соберут и отправят в гетто, а потом придут наши и освободят. Люда еще сказала, что несет вареную картошку военнопленным. Я спросила — а где они находятся? Она ответила, что за вокзалом. Я сказала, что тоже бы пошла, но боюсь. Люда ответила, что там бывает много народу. Правда, немцы гонят, но народ все же ухитряется передавать военнопленным еду. Я подумала, что если пойду с Людой, то будет незаметно, и мы пошли. Когда подошли, то увидела такую картину.

Недалеко от вокзала было ограждение, и там находились наши военнопленные. Они были ужасно истощенные, и на них было жутко смотреть. В большинстве это были солдаты из Средней Азии. Охраняли их немцы. Военнопленные перекатывали большие металлические бочки, и каждую бочку катил один. По-видимому, бочки были с горючим и очень тяжелыми. Военнопленные катили эти бочки, некоторые от изнеможения падали возле них, и тогда немцы избивали их прикладами. Но если кто-то уже не мог подняться, то немцы его пристреливали. Люди стояли и пытались передавать военнопленным еду. Я вынула лепешки, и Люда мне показала — куда можно подойти и незаметно передать. Мы с ней пошли, я дала ей лепешки, которые ей удалось передать военнопленному. Мы видели, как этот военноплен-

ный делился с другими. Потом мы с Людой пошли домой. Она мне сказала, что часто ходит к военнопленным.

Я пришла домой, конечно, задержалась, а мама только спросила: «Ничего не случилось?» Я сказала, что все хорошо и мне удалось все сделать. Потом я рассказала маме о том, что с одной девочкой ходила к военнопленным и передала им купленные лепешки. Мама ответила, что меня могли там пристрелить. Я успокоила ее, сказав, что там было много народа.

На следующий день мама испекла из муки лепешки, сварила мамалыгу и сказала, что если я пойду с подружкой, то она мне разрешит. В доме напротив у меня была подружка — русская. Я пошла к ней, но ее мать меня в дом не впустила. Но Валя вышла, я ей все рассказала, и она пошла со мной. Когда я шла с русскими девочками, то мне было не так страшно. Мы несколько раз ходили с Валей, но она просила, чтобы ее мать не знала, что она ходит с еврейкой. Несколько раз я ходила сама, чтобы передать еду военнопленным, пока меня с матерью и сестричкой снова не выгнали из дома. Маму я больше на улицу не отпускала, и пока мы жили дома, до последнего приказа, всюду ходила только я. Ведь мы были вне закона: паспорта у евреев не было, а вместо паспортов были нашиты спереди и сзади желтые звезды — все должны видеть, что идет еврей, и если кто захочет, то может сделать с ним все, что вздумается.

По воскресеньям немцев отпускали гулять. Они напивались и шли развлекаться. Ходили они вместе с немцами-колонистами, грабили и избивали. Колонисты ходили в форме СС и все награбленное оставляли себе.

Я рассказала маме о том, что мне говорила Аня Долгова о Фире, живущей в доме на углу улиц Пушкинской и Чкалова, рядом с аптекой. Как я уже писала, ни Фиру, ни ее соседей по дому, ни всех евреев, живущих в этом квар-

тале, оккупанты не трогали и они жили в своих квартирах. Почему это произошло?

Фире было лет пятнадцать-шестнадцать, и она была очень красивой, жила с родителями и братиком. У нее были золотисто-рыжеватые волосы, длинные, пышные, вившиеся крупными локонами, и она заплетала их в косы (в то время девочки косы почти не носили). Глаза у нее были большие, голубые. Отец ее был на фронте. В то несчастное утро 16 октября 1941 г. по Пушкинской улице прошли войска и какое-то подразделение румын «Компани ноу» разместилось в доме, где жила Фира. Как Фиру увидел их командир-офицер, я не знаю. Но в тот же вечер в квартиру Фиры зашел с переводчиком солдат и сказал, что у них будет жить офицер. В этой квартире семья Фиры занимала две раздельные комнаты, а в третьей комнате жила соседка-русская. Мать Фиры освободила комнату-спальню и приготовила постель. Все это время там находился солдат, а Фиру мать спрятала у соседки. Когда она приготовила постель, то солдат велел, чтобы она постелила на двоих. Мать спросила: «Поставить еще одну кровать?» Тогда солдат сказал, чтобы она позвала свою дочь: «Нашему офицеру понравилась твоя дочь, он хочет по-хорошему и женится на ней». Мать Фиры заплакала, упала в ноги: «Фира еще маленькая, ей еще рано, пожалейте ее». Солдат оттолкнул мать и ушел. Через некоторое время в квартиру вошло много солдат и этот солдат — денщик офицера. Он спросил: «Матка, где думишора (девушка)?» Мать опять стала плакать и просить. Тогда солдат сказал: «Наш офицер хотел по-хорошему, и ему очень нравится твоя дочка. Но если не хотят так, то эти солдаты пришли за ней и, как ни жалко, он ничем помочь не сможет». Он подал знак солдатам, они набросились на мать

и стали кричать: «Где думишора?» В это время пришел офицер и велел солдатам уйти. Затем ушел и офицер.

На следующий день утром, 17 октября, пришел тот же солдат и сказал, что сейчас всех евреев будут выгонять из дома, но если ее дочь будет жить с офицером, то он спасет матку, евреев со всего квартала и их не выгонят из домов. «Дочка очень красивая (думишора фрумоз), и ее все равно изнасилуют, а так она будет спасена». Тогда мать постелила постель на двоих…

Свое слово офицер сдержал. Пока «Компани ноу» находилась во дворе, Фира и весь квартал были под охраной и никто их не трогал. Но после отправки этой роты на фронт Фира, ее мать, братик и все евреи были расстреляны.

Когда наступило воскресенье, то я решила пойти к Фире, так как в прошлое воскресенье немцы разбойничали в соседнем доме. Когда я пришла к Фире, то она велела пройти на кухню. Она даже не удивилась, когда увидела меня. Я сказала ей, что узнала от Ани Долговой о положении в их квартале. Она спросила меня: «Ты осталась одна?» Я ей все рассказала. Она меня накормила — у нее только птичьего молока не было. Я переночевала у них — Фира постелила мне в кладовке. На следующий день Фира привела меня в комнату и показала чистый лист бумаги, на котором уже были школьные штамп и круглая печать. Она сказала: «Я напишу о том, что ты русская». Мы придумали фамилию, имя и отчество и заполнили бланк, который я спрятала. Таким образом у меня появился документ, однажды спасший меня. Пробыла я у Фиры до вечера и пошла домой, так как она больше не предлагала остаться.

Мама очень расстроилась, так как она думала, что я там останусь. Я объяснила маме, что больше не могла там находиться, а завтра пойду на базар. Ведь маму я не выпускала из дому. Я была на базаре и у военнопленных, но на

сей раз мне не удалось им ничего передать, так как немцы не разрешали даже подойти к сетке. Я еще один раз была у Фиры, но когда пришла к ней в третий раз, то она меня не впустила. Тетя Аня (соседка-русская) подала мне через окно знак, чтобы я подошла к черному ходу. Она меня тихонечко впустила, и я у нее просидела до вечера, а когда все легли спать, то она меня запрятала на черном ходу между дверьми — там стояла табуретка, и я просидела на ней всю ночь. Утром, в понедельник, я ушла и решила к Фире больше не ходить, вернее, она меня больше не впускала.

Когда я пришла домой, то мама сказала мне, что бабушка Фабрикант опять очень просит, чтобы мы жили у них. Я и так, когда ходила на Привоз за продуктами, меняла вещи на продукты и для них. Я ответила маме, что как она скажет, так и будет. Мы снова стали жить у Фабрикант, хотя дома у каждого была своя постель, а тут мы спали втроем на одной кровати. В квартире было уже холодно, так как мы не топили. Мы с мамой помогали бабушке — ведь дедушка был в очень плохом состоянии. Адочка всегда молчала, а я часто читала ей книжки, чтобы развлечь, но, по-моему, она не реагировала…

Так мы пока жили. Говорили, но хотя Антонеску разрешил жить евреям в городе, но румыны и немцы все равно ловят евреев на улицах, ходят по квартирам, грабят и издеваются. Шли слухи, что они не имеют права на это и есть приказ не избивать и не грабить евреев.

В одно из воскресений постучала в дверь соседка-русская и сказала, что она видела через окно, как много немцев, по-видимому, пьяных, вошло в дом напротив. Мама стала меня просить, чтобы я убежала к Фире. Я оделась и тихонько вышла из дома. Вообще самыми тяжелыми днями в то время, когда евреям разрешили находиться дома, были воскресенья. Было страшно ходить по улицам

и страшно находиться дома. Только у Фиры было безопасно… Когда я вышла из дому, то опять решила пойти по улице Воровского, а не по улице Чкалова, так как там было как-то спокойнее и тише, по направлению к Пушкинской улице. Я такой дорогой уже ходила. Когда я прошла почти квартал по улице Воровского и подходила к углу, то вдруг из-за угла вышла целая группа пьяных немцев. Они были очень возбуждены, и с ними были два немца-колониста в форме СС. Бежать было бесполезно, так как они меня заметили, и я решила, что нужно просто спокойно идти, может быть, пронесет. На улице почти никого не было.

Немцы подошли ко мне и все что-то кричали. Я даже и теперь помню их лица: они были все, как на подбор, высокие, молодые, лица выхоленные, румяные, здоровые. Один из немцев схватил меня, прижал к дереву, а остальные окружили нас. Тот, который схватил, бил меня о дерево, и все хором кричали: «Юде? Юде?» Я отрицательно качала головой и говорила: «Нет». Я хотела достать документ, который мне написала Фира, но поняла, что это бесполезно, так как там были немцы-колонисты. Потом подбежал немец-колонист и сказал мне по-русски: «Что ты говоришь, что нет. Ведь ты еврейка. Будешь врать, будет хуже». А я все говорила — «нет». Потом этот колонист сказал немцам: «Юде! Юде!»Тогда немец, который бил меня о дерево, стал тащить меня во двор. Этот дом был двухэтажным, ворота были деревянные, низенькие, а над воротами, на втором этаже — окно. (Когда мы приезжали в Одессу после войны, то я показывала этот дом мужу и говорила, что здесь меня избивали. Этот дом и сейчас стоит.) Когда меня потащили во двор, то я споткнулась, упала, и они меня втащили волоком. Двор был маленьким; с левой стороны, в углу, была парадная, а посередине двора стоял стол.

Когда меня втащили, то бросили у стола. Один немец-колонист остался стоять у стола, а все остальные разбежались по квартирам. Я поднялась и стала просить, чтобы он отпустил меня. Он рассмеялся и велел, чтобы я разделась. Я сказала ему: «Мерзавец! Ты хуже их». Я стояла, а он начал срывать пальто, и тогда я стала раздеваться: сняла пальто, шапочку, свитер, отдала ему и муфточку. Он велел мне снять туфли, и тогда я осталась стоять в одних чулках. В это время во двор согнали евреев, живших в этом доме, и стали накладывать награбленные вещи на стол. Было столько вещей, что они уже не помещались на столе — целая гора! Я сказала немцу-колонисту, что отдала все и теперь пойду домой. Но он ответил, что еще нельзя.

Среди евреев, которых немцы выгнали во двор, были молодая женщина с маленьким ребенком на руках, две старушки, женщина с дочкой моего возраста. Немцы всех нас погнали к лестнице. Напротив стола, в углу дома, была деревянная лестница, которая вела на длинный деревянный балкон, а на балконе были двери в квартиры. (Это в южных городах такие балконы. У нас во дворе тоже такой балкон.) На балконе немцы нашли квартиру, где жил старик-еврей, которого они тоже выгнали на балкон. Затем все немцы ворвались в эту квартиру. Один из немцев остался на балконе с нами, а двое немцев стали на пороге по обе стороны двери. Сначала они погнали старика — хозяина этой квартиры, и, когда он переходил порог, немцы, стоящие у порога, избивали его. Потом дверь закрылась. Мы стояли на балконе и слышали крики старика, которого избивали. Затем стало тихо, и мы услышали какие-то непонятные звуки — хлопки. Долго были слышны эти звуки, и молодая женщина с ребенком сказала, что немцы ищут золото и бьют по стенкам. Прошло некоторое время, старика выбросили, и он валялся на полу балкона. После этого завели

женщину с ребенком, и повторилась такая же процедура. Невозможно было слышать эти крики. Затем вытолкали женщину, но на руках у нее уже не было ребенка. Я сейчас могла бы ее узнать. Женщина была красивой блондинкой. Она была вся растерзана: все вещи на ней были разорваны. Она бросилась бежать по балкону, немец ее не остановил, и она убежала. Мне кажется, что она сошла с ума. Потом загнали двух старушек и женщину, у которой была дочь моего возраста, и все повторилось. На этот раз было тихо, и слышались только вскрики и стоны. Прошло некоторое время, и их выбросили, а мать этой девочки вышла сама. Нас осталось двое: я и ее дочка. Все мы были раздеты: меня раздели, а их выгнали из квартир раздетыми. Когда немец нас толкнул к двери, то мать этой девочки схватила дочь и стала кричать: «Не дам, не дам, расстреляйте нас, не дам!» (Я и сейчас ее вижу: высокая, крупная женщина, с полным круглым лицом, а девочка тоже была крупной.) Немец оттолкнул женщину, открылась дверь, и он нас втолкнул.

Опять все, как по сценарию, повторилось: мы проходили через порог, и нас били ремнями. Ремни у немцев широкие с большими железными пряжками. (Когда мой муж-фронтовик прочитал об этом, то он сказал, что на пряжках немецких солдат была надпись «Гот мит унс» («С нами Бог»). Так именем Бога они прикрывали свои черные дьвольские дела). Немцы держали ремни сложенными вдвое и били пряжками. Когда я еще стояла на балконе и слышала, что старушки там не кричали, то дала себе слово постараться, насколько будет сил, терпеть и не кричать. Я успокаивала себя — ведь они никого не убили и, значит, есть надежда остаться живой. Все это придало мне силы. Мы перешли порог, получив свою порцию побоев. Когда вошла, то увидела такую картину: квартира старика была очень бед-

ной, начинаясь маленьким коридорчиком, где горела керосинка, а на ней стоял большой чайник с кипящей водой. Нас втолкнули, и мы остановились в середине комнаты, а у окна стоял немец-колонист. В дверях стояли немцы, и в комнате было еще несколько немцев.

Вдруг я почувствовала, что по спине потек огонь, а потом увидела, что один из немцев держит кружку с кипятком. Я не успела опомниться, как он выплеснул кипяток на меня, в то время как другой немец обливал девочку. Потом немец-колонист подошел к нам и сказал: «Теперь раздевайтесь». Я ответила, что уже разделась и у меня все забрали. Немцы стояли и разговаривали между собой. Они, видно, уже не были такими пьяными и возбужденными. Когда я увидела, что немец-колонист отошел от окна, то воспользовалась моментом и прыгнула на подоконник. Окно было приоткрыто, и я решила лучше разбиться, чем переносить такое унижение, стыд и физическую боль. Но в этот момент меня ударили ремнем по голове и сбросили на пол. Немцы стали рвать на мне юбку и кофту. В это время я услышала крики и увидела, что на диване лежит девочка, а по обе стороны стоят немцы и избивают ее ремнями. Тут и меня бросили на кровать. Я лежала вниз лицом поперек кровати, и немцы начали меня бить, также как и девочку. Они стояли с обеих сторон и били меня пряжками ремней. Били они вполне профессионально, как настоящие палачи, стараясь нанести побольше повреждений.

Сначала они били, вернее, отбивали, спину. Спокойно, методично: удар с одной стороны, а потом удар с другой стороны, и так много раз: удар с одной стороны, удар с другой стороны. Я молчала, зажав зубами какую-то тряпку. Потом другой немец перевернул

меня на бок. Я опять упала на живот, но он снова перевернул меня на бок, и они опять стали меня бить. Потом немец перевернул меня на другой бок, и все повторилось. Наконец, два немца схватили меня за ноги, один потянул одну ногу в одну сторону, а второй другую ногу в другую сторону. А два немца, которые били меня, стояли и ожидали завершения этой процедуры. Потом они стали так же монотонно избивать меня: раз один немец, раз другой. Они били меня между ногами. Я услышала, как кричит девочка. Когда они начали бить меня между ногами, то возникла такая резкая боль, что я тоже стала кричать. Больше я ничего не помню. Не знаю, сколько я пролежала, но когда очнулась, то в комнате никого не было и только сидел старик на полу, а я была вся мокрая. Вероятно, когда я потеряла сознание, они продолжали меня избивать, но я уже ничего не чувствовала. Уходя, они, вероятно, облили меня водой. Девочки тоже не было.

Я не стала ни о чем спрашивать. Конечно, подняться мне было очень тяжело, но я поднялась, и первая мысль была: почему? за что? Боль я не чувствовала, была только обида. Мне нужно было уйти, но я была совершенно голой и на мне оставались только чулки. Я стала искать какую-нибудь одежду и увидела, что у кровати лежит моя юбка. Я хотела нагнуться, но не смогла: у меня спереди все вздулось, опухло и были раны от пряжек. Но я все же, держась за кровать, нагнулась, чтобы поднять юбку… Я даже сейчас не могу это описать и никогда в жизни об этом никому не рассказывала: под кроватью лежал мертвый ребенок и его ручка находилась возле юбки. Я надела юбку, а кофта была вся разорвана. Я немножко пригладила волосы, а когда я выходила, то старик мне сказал, что немец-колонист пригрозил,

что если он пожалуется, то они придут ночью и убьют его. В коридорчике висел какой-то плащ, я его надела и сказала, что если буду жива, то верну ему плащ.

Сейчас я это пишу и думаю, как же немцы все это проделывали! Как в спектакле, где каждый имел свою роль! Вот так они развлекались.

Побежала я домой. Это произошло недалеко от моего дома, и нужно было пробежать один квартал до улицы Свердлова, а затем по улице Свердлова почти целый квартал. Я бежала в чулках и думала только о том, чтобы дома все было благополучно. Вдруг я приду, а дома находятся немцы или они уже были там. Я хотела только увидеть невредимыми маму и сестричку. Когда прибежала домой, то там все было спокойно. Первой меня увидела бабушка Фабрикант, и она меня даже не узнала. Я стала говорить: «Бабушка, это же я». Она вскрикнула, и в это время подошла сестричка и спросила: «Что, немцы? Да?» Тут вышла мама, подошла ко мне, ничего не сказала и повела в маленькую комнату, раздела и положила на кровать. Меня лихорадило, и тогда я почувствовала, как мне больно.

На спине я лежать не могла — были глубокие раны от пряжек и всю спину жгло, на животе я тоже не могла лежать. Мама подняла меня и обработала спину. На спине у меня были пузыри: ведь они сначала облили спину кипятком, а потом уже били. Где было возможно, мама смазала спину йодом и подсолнечным маслом. Между ногами тоже все болело. Мама положила на стул подушку, и я села. Все болело и пекло. Мама и сестричка просидели возле меня всю ночь. Сестричка сказала: «Мама, если бы была отрава, то мы бы сейчас уснули и все было бы хорошо». Мама меня успокаивала: «Все пройдет, потерпи». Меня очень лихорадило, и мама несколько раз давала мне чай. Мама несколько раз меня спрашивала: «Они

тебя не трогали? А это все заживет». Как я уже писала, для мамы было главным, что надо мной не наглумились.

Настало утро, жечь стало меньше, но между ногами все сильно вздулось и болело. Я не могла двигать ногами. Но уже к обеду я легла на кровать. Сначала у меня, видимо, был шок, но потом я стала все ярко вспоминать и начала сильно плакать — впервые за все время. Я плакала беспрерывно двое суток. У меня была истерика, и я все время кричала: «За что? За что?» Мне было обидно, и я хотела, чтобы кто-нибудь из моих подруг увидел, что немцы со мной сделали. Если я умру, то пусть подруги знают, что немцы со мной сделали, и когда у них будут дети, то пусть они расскажут им. Вот придут наши, и Аня Долгова должна обязательно рассказать, что немцы делали с нами. Так я думала и не переставала рыдать. Я стала просить маму, чтобы она кого-нибудь послала за Аней Долговой. Я все время кричала: «Аня, Аня, посмотри!» Мама попросила соседку-русскую, чтобы она привела Аню Долгову.

Аня Долгова пришла. Я лежала на кровати и рыдала, а Аня стояла и смотрела на меня. Я ей все говорила: «Аня, посмотри, что они со мной сделали! За что? За что?» Аня молчала, и я сказала ей: «Ты запомни, обязательно запомни и, когда наши придут, то все расскажи». Аня ушла. Только тогда я немного успокоилась и уснула. (После освобождения из лагеря я вернулась в Одессу и пришла к Ане Долговой. Ее мать велела мне сбросить с себя мешок — мою единственную одежду, — сожгла его, выкупала меня и дала мне надеть вещи Ани.)

Уже после войны, когда я вышла замуж (муж — офицер), то думала, что у меня не будет детей из-за побоев. Но вот я родила свою доченьку. Условия тогда были ужасные, и, конечно, мне было тяжело. Жили мы на Дальнем Востоке в воинской части, в сопках, в гарнизоне Фили-

но (он даже не обозначен на карте). Воды не было, и ее привозили, но не ежедневно. Зимой собирали снег, растапливали его, использовали для приготовления пищи и купания ребенка. Не хватало хлеба, так как выдавали его только военным, а члены семей ничего не получали (сельская местность). Хлеба военным выдавали по 700 г в сутки — это был маленький кусочек, очень тяжелый, сырой, с запахом автола, с песком (хрустел на зубах). Хлеб был с песком потому, что, как говорили, зерно везли из Китая на открытых платформах. Из круп мужу, в основном, выдавали только чумизу и гаолян. Летом собирала лебеду и варила ее. Молока не было. На рынке, в Имане, картошка стоила 100 рублей маленькое ведро. Зимой было очень холодно — не хватало топлива. Электричество, от движка, подавали только до 11 часов вечера, а потом пользовались коптилкой из орудийной гильзы.

Сама я была очень худой. Во время беременности мне нечем было полакомиться, и я пила чай, вливая в него уксус. Тем самым получался кисло-сладкий чай. Сахар муж получал 750 г на месяц и почти весь отдавал мне. Но ничего, ведь это было послевоенное время. Мы победили в войне, освободили не только нашу страну, но и всю Европу от фашизма, и я,как и все, надеялась, что больше никогда не возродится фашизм, несущий гибель всему человечеству. И то, что сейчас нам тяжело — мы преодолеем.

Несмотря ни на что я была счастлива, да, счастлива! Ведь я жива, сумела родить дочку, и у меня есть дочь! И не только Аня Долгова, но и я сама смогу рассказать о злодеяниях немцев, чтобы знала моя дочь, мои внуки и правнуки, что такое фашизм. Это нужно для того, чтобы подобное не могло повториться. Мои друзья и все люди, общавшиеся со мной, давали мне такую характеристику: «Ах, Женя, с ней сравниться трудно. Она очень

энергичная, живая, веселая, и ей живется легко». Мне многие завидовали. На полигоне (в воинской части, где мы жили с мужем) многие говорили: «Кацовская — не от мира сего». Я в душе переживала. Сколько раз, бывало, ночью плакала в подушку, вспоминая родных, хотя они всегда были со мной. Я ведь ни с кем не делилась и никому никогда не рассказывала и все переживала про себя. Но как мне хотелось рассказать своим самым близким: моему мужу и моей доченьке. Ведь у меня больше никого не было. Это было мне необходимо.

Какое счастье: у меня есть дочь, и я могу обо всем ей рассказать. Но, сначала, когда я ее родила, она была маленькой. Я ждала, потом дочь стала учиться, ей всегда было некогда: школа, музыка, хотелось, чтобы она погуляла. Думала: «Ну, ладно, пусть учится, не буду ей голову забивать и расстраивать, еще есть время». Потом, когда она училась уже в институте, я пробовала, но из этого ничего не получилось. Затем она вышла замуж, и опять ей некогда. У меня есть внуки, и я пыталась начать разговор, но дочь сказала: «Мама, ты же мне уже это говорила». Правда, в течение всей жизни я пыталась рассказать и кое-что, буквально в двух-трех словах, говорила. Но разве это мне нужно было! Мне хотелось, чтобы дочь, а теперь и внуки, прочувствовали все и проникли в эту атмосферу. Чтобы они прикоснулись, хотя бы краешком, к тем страшным дням, к страданиям, к тому ужасу, который принесли нам фашисты — эти звери в облике людей.

Поэтому я больше не могла все это нести в своем сердце, и спустя годы пишу в надежде, что моя дочь и мои внуки все это прочитают. Сейчас я очень болею. Я, конечно, часто падаю духом, но все продолжаю надеяться. Я хочу, чтобы внуки меня поняли и смогли ценить жизнь и быть достойными ее.

Простите меня, что я прервала основное повествование и отвлеклась. Иначе я не могу писать — это память, и невольно она переливается из одного в другое.

Теперь продолжу. После ухода Ани я уснула. Когда проснулась, то больше уже не плакала. Я успокоилась, так как знала, что Аня все запомнит и все расскажет нашим, когда придет Победа. У меня постепенно все начало заживать, отечность спала, боли стихали. Только очень болела голова, и мама мне давала аспирин. Так мы жили, и через несколько дней я все же пошла на Привоз. Ведь пока мы были живы, то, конечно, надо было кушать. Нас же было пятеро: мама, сестричка, я и Фабриканты — ведь мы жили вместе. Дедушка был совсем плох, его нужно было кормить с ложечки, и я с мамой помогали бабушке приподнимать и поворачивать его, а он был очень тяжелым. За это время мама еще раз ходила на Привоз, но Адочка уже не хотела оставаться и пошла с ней. Когда я уже смогла ходить, то еще несколько раз была на Привозе. Правда, после побоев страх стал еще сильнее. Но что поделаешь — ведь опасность была везде одинаковая: и на улице, и дома. Теперь была только одна мечта — чтобы перед смертью не глумились. По воскресеньям мама, Адочка и я поднимались на чердак, брали с собой мамалыгу, воду, старое ватное одело и сидели тихо, как мыши, в надежде, что если немцы придут в дом, то они на чердак не полезут. Таким образом мы прожили почти весь декабрь 1941 г.

Я хочу еще рассказать о моих близких родственниках. У мамы в Одессе жили три сестры. У тети Хоны муж и старший сын Юзя 1922 года рождения ушли на фронт. Муж, вернувшийся с фронта инвалидом, в 1973 г. уехал в Израиль и умер там. А сын Юзя погиб на фронте. Тетя Хона вместе с младшим сыном Фимочкой погибли в первые дни оккупации — их расстреляли. Старшая сестра тетя Маня

с младшей дочерью Фридочкой были выгнаны из дому в первые дни оккупации и были расстреляны на Дальнике. Ее старшую дочь Адель прятал один русский парень. Ему удалось сделать ей русский паспорт (она не была похожа на еврейку), и он женился на ней. Таким образом он хотел спасти ей жизнь. Об Адели я еще напишу. Осталась в живых только средняя дочь Рива и сейчас она живет в Ленинграде. Ей посчастливилось, так как перед войной она поехала в гости к родственникам в Ленинград, вернуться в Одессу к матери ей не удалось, и она эвакуировалась. Таким образом, она одна из всех родственников, которые жили в Одессе, избежала смерти. У тети Рахили, когда началась война, было двое маленьких детишек. В первые дни войны ее муж ушел на фронт, где погиб. Когда в Одессу вошли оккупанты и стали выгонять из домов евреев, то соседи тети Рахили попросили румынских солдат, чтобы они ее не трогали, так как дети маленькие и больные. Солдаты ответили: «Ладно, пусть пока живут». Дом по улице Свердлова № 64, в котором жила Рахиль с детьми, был небольшим, соседи между собой жили дружно. И пока Рахиль жила с детьми у себя дома, то соседи постоянно приносили им еду, лекарства и помогали во всем. Потом уже, в феврале 1942 г., когда стали проводить облавы в домах, на базарах, улицах и искали последних прятавшихся евреев, то Рахиль с детьми выгнали. Мне потом смотритель дома рассказала, что на нее было страшно смотреть: она была как безумная, держала на руках мертвого младшего ребенка. Какой страшной смертью они погибли, я не знаю. Очевидцы мне рассказывали, что на Дальнике людей заставляли копать рвы. Потом у матерей вырывали детей и бросали их живыми в ров. Палачи говорили: «На такое семя пулю жалко». Может быть, и дети Рахили были брошены в такой ров. Вот так большая дружная семья была уничтожена.

К концу декабря 1941 г. вышел новый и последний приказ, относящийся к евреям: все евреи, без исключения, должны явиться на Слободку. И на сборы опять давали два дня.

После этого приказа солдаты и домоуправ ходили по домам и предупреждали дворников о том, чтобы они объявили всем своим жильцам: «Если найдут хотя бы одного еврея, даже ребенка, спрятанного соседями, то эти люди будут отправлены вместе с евреями, а дворник этого дома будет повешен на воротах». Поэтому евреям никакой шанс на спасение не был оставлен. После этого предупреждения стало больше людей, выдававших евреев. Одни выдавали из-за боязни, а другие — злобно и радостно. Но наперекор всему находились люди, украинцы, русские и другие, которые, рискуя жизнью, пытались спасти евреев. Об этом я еще расскажу.

Этот последний приказ не оставлял никакой надежды на то, что фашисты нас не уничтожат. Но, несмотря ни на что, распространялись обнадеживающие слухи. Так, например, в квартиру Фабрикант (бабушка и парализованный дедушка), где находились мама, сестричка и я, зашла соседка (русская) и стала нас успокаивать. Она рассказала, что евреев больше не будут уничтожать, так как немцы обещали отдать Одессу и Одесскую область румынам, если они будут воевать вместе с немцами. Поэтому одесские евреи будут принадлежать Румынии, и Антонеску добился, чтобы евреев больше не убивали. Согласно последнему приказу, оставшихся в живых евреев будут отправлять в лагеря, называемые гетто, на работы. Соседка добавила: «Я рада за вас. Вас не убьют, и вы дождетесь наших».

Опять надежда. Да, надежда — это единственная капля радости, которая оставалась людям перед не-

минуемой гибелью. Но оказалось, что эти слухи распространяли сами фашисты, чтобы люди, подлежащие уничтожению, с надеждой спокойно шли на смерть. Но я все это чувствовала и не верила слухам. Я знала, что нас уничтожат.

Мама договорилась с соседями по двору, их звали Леня и Надя, о том, что они меня спрячут. Они раньше жили на «черном дворе», так называли второй двор нашего дома по улице Свердлова, 75. Когда пришли немцы, то Леня и Надя перебрались в квартиру в нашей парадной, из которой эвакуировались соседи.

Вдруг я вспомнила девушку, отец которой был ранее в заключении как заложник на пункте (угол улиц Чкалова и Пушкинской). Когда мы с девушкой спасли этого русского мужчину (о чем я писала ранее), то он дал мне свой адрес и обещал помочь — отправить в деревню. Я об этом рассказала маме и предложила отправить Адочку в деревню, чтобы спасти ее. Мама ответила, что Адочка никуда от нее не уйдет. Но все же я решила пойти по этому адресу. Вдруг такое счастье, может быть, они смогут отправить в деревню всех нас или хотя бы кого-нибудь. Ведь моя мама была молодой — ей было всего 36 лет.

Я пошла по адресу и думала: вот нас спасут, какое счастье, мы останемся жить. Он нам обязательно поможет. Ведь тогда на пункте, когда мы его спасли, он был так благодарен и сам дал мне адрес. Вот так я думала, когда шла к своему спасителю. И никак понять не могла, почему я раньше к нему не обратилась. Так со своими мыслями я незаметно подошла к их дому.

Когда я постучалась в дверь, то мне открыла женщина. Я спросила дядю Колю. В это время он вышел, и я сказала: «Дядя Коля, вот я пришла». Он смотрел на меня и молчал. Тогда я сказала: «Помните меня? Там,

на пункте?» Он меня перебил и сказал, что ничего не помнит и ничего не знает, а я ошиблась адресом. Я стояла в коридоре, и тогда он меня вытолкнул и захлопнул дверь. Я так и осталась стоять у двери. Мне сдавило горло, мне казалось, что меня кто-то душит. Я никак не могла отойти от двери. Мне очень хотелось увидеть ту девушку (его дочь). Мне только хотелось посмотреть ей в глаза. Постояв еще некоторое время, я пошла домой.

Когда я пришла, то увидела, что мама собирает самые ценные вещи. Она мне рассказала, что бабушка Фабрикант договорилась с очень хорошим порядочным человеком, который обещал взять вещи на хранение. Этот человек поселился в квартире эвакуированных соседей. Бабушка сказала маме, что если она желает, то можно договориться с этим человеком и он возьмет также наши вещи на хранение. Может быть, если кто-нибудь из нас уцелеет, то хоть что-нибудь останется на первое время. Мама очень спешила и говорила, что этот человек должен сейчас прийти. Одну часть вещей мама отдала ему, а другую часть бабушка Фабрикант отдала со своими вещами другим соседям. Мама часть вещей отдала также Лене и Наде, чтобы отблагодарить людей, которые берутся спасти меня. Леня перетащил в свою квартиру пианино, швейную машину, люстру и другие вещи. Я в пианино бросила мою и Адочкину фотографии. (Когда я вернулась из лагеря в Одессу, то достала эти фотографии, и они сейчас хранятся у меня.)

Мама кое-что запрятала еще на чердаке. Потом мама стала собирать нас в последний поход… Собрала самое необходимое.

Утром третьего дня Леня пришел за мной. Он работал на стекольном заводе. Я не хотела идти, мне было очень страшно расстаться с мамой и сестричкой. Я все говорила: «Ведь мы все равно погибнем, так зачем ты

меня гонишь от себя?» Мама ответила: «Ты спасешься, ты должна жить». Потом она обратилась к Лене: «Ну, идите, идите же». Я в слезах попрощалась с мамой, Адочкой и пошла. Леня сказал маме, чтобы она не волновалась, он все устроил и обо всем договорился.

Леня привел меня к каким-то людям. Они жили недалеко от стекольного завода. Они приняли меня хорошо, накормили, и я осталась у них. Леня обещал прийти завтра. На следующий день он пришел, но больше не появлялся. Я пробыла у этих людей несколько дней. Там жили хозяйка с мужем, дочь и бабушка. Помню, под Новый 1942 год бабушка сказала, что ночью будем гадать. Гадали так: растапливали воск и выливали на воду, а когда он застывал, то смотрели, что получится. Я тоже гадала. Когда я все проделала, то бабушка посмотрела и сказала, что меня ждет дорога. Наступил новый 1942 год. Зима была очень суровой. Старые люди говорили, что такой холодной зимы в Одессе они не помнят. Несколько раз хозяйка спрашивала: «Когда придет Леня?» Я сказала, что, вероятно, он заболел и поэтому не приходит. Потом, через несколько дней, она мне сказала: «Соседи говорят, что мы прячем еврейку. Мы боимся. Если ты не нужна Лене и он тебя подбросил нам и умыл руки, то мы не хотим за тебя отвечать. Немедленно уходи, так как каждую минуту могут явиться немцы». Я оделась и вышла. Бабушка мне шепнула: «Дитонька, ты останешься жить, так говорит гадание, крепись».

Дорогу я не знала, и они мне сказали, чтобы я пошла по железнодорожному полотну и так я войду в Одессу. Идти мне было некуда. Мамы и Адочки в Одессе уже не было. Где они и что с ними, я не знала. Когда я вышла на железнодорожное полотно, то ноги стали утопать в снегу, и я пошла по шпалам. Но, как оказалось, я пошла в противоположную сторону. Шла я очень долго. Никого вокруг не было.

Потом где-то вдалеке я увидела человека. Я изо всех сил побежала, перепрыгивая через шпалы, догнала его и спросила, ведет ли эта дорога в Одессу. Он ответил, что Одесса в противоположной стороне. Я повернулась и опять пошла. Был сильный мороз и ветер. А я шла, шла долго, и опять ни одной живой души. Потом увидела, что к железной дороге приближаются два человека, Они были недалеко, и я их догнала. Это были мужчина и женщина. Я еще раз спросила, правильно ли я иду в Одессу, и попросила разрешения пойти вместе с ними. У них были корзины. Они мне сказали, чтобы я помогла им, и дали мне одну корзину. Мне, конечно, было очень тяжело, но я была рада, что не одна. Я еле успевала за ними. Но все же у меня в душе таилась надежда,что Леня меня не бросил, наверное, он заболел. Я шла и думала: «Только добраться домой, а там Леня все уладит, ведь он обещал маме». Это мне придавало силы.

В Одессу пришли к вечеру. Ворота нашего дома были еще открыты — значит, не было еще 18 часов и комендантский час еще не наступил. Я заглянула во двор — там никого не было — и тихонько проскользнула в нашу парадную. Я постучалась к Лене и Наде в дверь. Мне открыли. Я все рассказала Лене, который как раз пришел с работы. Он сказал, что был очень занят. Очень удивился, что меня выгнали, и обещал завтра все уладить. Надя раздела меня. Я очень промерзла, и меня всю трясло. Мне дали горячий чай, и я немного согрелась. Несмотря на то что я давно не ела, кушать не хотелось. Потом я поднялась к нам домой и взяла белье. Надя нагрела воду и выкупала меня. Ноги были сильно отморожены. Все тело болело, и сильно болели голова и горло. Она дала мне аспирин, и я заснула. Ночью мне стало совсем плохо. Я вся горела, но лежала тихо, так как боялась разбудить их. Утром Леня сказал, что пойдет на работу и обо всем

договорится. Когда он ушел, то я сказала Наде, что мне очень плохо. Она измерила температуру — было 39 градусов. Она опять дала мне аспирин и горячего молока. Я пробыла у них два дня. Леня сказал мне, что все уладил и когда я выздоровею, то он отправит меня в деревню.

Когда Надя пришла с Привоза, то рассказала, что встретила одну соседку-еврейку и та рассказала, что евреи живут на Слободке в частных домах, платят 1 марку в сутки и мои мама с сестричкой тоже живут у этой хозяйки. Они находятся в большой пустой комнате, каждый имеет свое место на полу, а всего в этой комнате живет около 20 человек. Она сказала адрес. Так я узнала, что мама с Адочкой еще живы. Я стала мечтать, что когда Леня отправит меня в деревню, то, может быть, смогу там договориться, чтобы маму и сестричку тоже переправили в деревню. Ведь мама спрятала вещи на чердаке и можно будет заплатить. Только бы они были живы.

Так прошло два дня. На третий день Надя сказала мне, чтобы я поднялась на чердак, так как кто-то из дома меня заметил и сказал, что донесет. Ночью Надя обещала прийти за мной. Я оделась и поднялась на чердак. Там лежали наши одеяло, коврик и тряпки. На чердаке я просидела весь день. Когда я раньше там сидела с мамой и сестричкой, то было не так страшно, но быть весь день одной очень жутко. Я слышала голоса соседей во дворе. Ведь в этом доме я родилась, это моя родина, и я никак не могла понять, почему я должна прятаться, умирать от страха на чердаке, а русские соседи в это время свободно ходят по двору, а по улице бегают девчонки и мальчишки. Чем они лучше меня? И опять — за что? За что? Так я просидела весь день и ждала, что Надя поднимется на чердак, хотя раз принесет попить — ведь у меня еще болело горло, во рту все пересохло. Но она не пришла ни днем, ни ночью.

Утром я спустилась и тихонько постучала. Надя открыла мне, но не впустила и сказала, что больше держать меня не может, так как у кого находят коммунистов и евреев, то тех выгоняют вместе с ними, а дворника вешают на воротах. Она сказала: «Бабушку Фабрикант еще не выгнали. Пойди к ней — ей терять нечего». Я хотела спросить: «А как же деревня? Ведь Леня договорился», но не успела — дверь уже была закрыта. Я спустилась вниз и постучалась к бабушке Фабрикант. Она в страхе приоткрыла дверь и замахала руками — «Уходи, уходи». Больше мне некуда было идти. Я поднялась наверх, открыла дверь и вошла домой. Закрыла ставни, в полумраке подошла к кровати, легла и укрылась одеялом.

Ой, боже, какое блаженство! Я дома, и это после чердака и вообще за все время. Ведь в новом году я еще не была дома. Я решила — никогда и никуда не выходить. Все равно убьют, так пусть убивают в родном доме. Здесь я родилась и здесь я умру. Я уснула и спала сутки. Конечно, я просыпалась. Снились все эпизоды и все перенесенное. (И до сих пор снится — ночью я там, у фашистов. А в данный момент у меня все перемешалось — прошлое и настоящее.) Еще два дня жила дома. Вдруг в дверь постучали, но я молчала. Стали дергать за ручку, а потом я услышала голос дворника. Она кричала: «Открой немедленно, открой. Я знаю, что ты дома». Я не хотела открывать, но, видно, нервы не выдержали, и я открыла дверь. Она сказала, что если будет облава и меня найдут, то ее повесят. «Тебе ведь все равно, днем раньше, днем позже, и тут уж ничего не поделаешь. А из-за тебя меня повесят». Я ответила ей, чтобы она не волновалась. Я ее смерти не хочу и через десять минут уйду. Дворник ушла. Я до сих пор не могу понять — как она узнала? Может быть, когда я открывала кран или ходила в туалет, а под нами, на втором эта-

же, жила молдаванка — очень вредная старуха, и только она могла донести. Я взяла пододеяльник, простыни, штанишки, рубашки и еще кое-что, сложила все в сумку, оделась потеплей, надела полушубок и опять вышла из дома.

Я решила пойти на Привоз. На Привозе я продала белье и купила семечки (ведь семечки были дешевле всего, и можно было приглушить голод). Потом я направилась в молочный корпус. В это время ко мне подбежала девчонка, схватила меня за рукав и потащила за собой. Она прошептала: «Бежим, сейчас будет облава». Когда мы убежали, то она мне сказала, что услышала, как одна торговка указала на меня. Потом я узнала, что эта девчонка не одна и их целая компания. Среди них были украинские, русские и еврейские ребята. Она повела меня в сторону, где торговали хозяйственными товарами, красками, и в этом районе Привоза не было так многолюдно. Она привела меня в пустой киоск, который спереди был забит досками. Там сидели еще девочка и мальчик. Они меня не расспрашивали и только спросили, где я ночую. Я ответила, что мне негде ночевать. Девчонка, которая меня привела, была русской, и звали ее Наташей. Другой девочкой была Лена, а как звали мальчика, я уже не помню. Наташа сказала, чтобы я с ними посидела, так как меня могут поймать, и она ушла. Мы сидели втроем и молчали. Потом пришла Наташа и сказала, чтобы мы по одному незаметно вышли. Она пойдет, и мы должны идти за ней. Так мы и сделали.

Наташа привела нас на кладбище, но не через ворота — у них была лазейка. Она завела нас с Леной в склеп. Потом пришло еще несколько ребят, и они расположились в другом склепе. В склепе лежали какие-то тряпки, солома. Мы там сидели, тесно прижавшись друг к другу, и согревали друг друга своими телами. Так прошла

ночь. В склепе была банка с водой. Утром все ушли, а мне велели, чтобы я не выходила из кладбища. Ребята сказали, что постараются украсть у какой-нибудь торговки сумку с документами для меня. Они уже и раньше делали это: выбирали «жертву» помоложе, один из них хватал что-либо из корзины и бежал, а когда торговка бросалась за ним, то другой сзади забирал сумку, на которой она обычно сидела. Вечером они опять пришли и принесли поесть. На следующий день они снова ушли.

Лена заболела, она вся горела, и нельзя было оставлять ее одну. Наташа сказала мне: «Оставайся с Леной, тем более что тебе некуда идти. А на кладбище пока безопасно, так как немцы и румыны не были еще здесь». Я весь день сидела с Леной. Ей было очень плохо, она бредила. Я просто не знала, что делать. Вечером пришли Наташа и ребята, принесли лекарство и еду. Мы сделали все, чтобы облегчить состояние Лены. Потом мы все сидели на скамейке у какой-то могилы и говорили о многом. Ребята рассказывали, что Москва наша, что фашистам никогда не видать Москвы, а 7 ноября на Красной площади был парад и выступал Сталин. Мы мечтали, какая будет жизнь, когда прогонят фашистов. Меня успокаивали, говорили, что обязательно достанут мне документ, чтобы я смогла уехать в деревню. У Наташи в деревне есть родственники, и ребята меня отвезут к ним. Наташа сказала мне шепотом, что там партизаны и двух мальчишек они уже переправили к ним. Нужно только потерпеть, и все будет скоро сделано. А пока мне следует быть на кладбище, тем более что Лена так больна. Наташа обещала найти врача и место, чтобы забрать Лену отсюда, так как иначе она погибнет. Я не смогла сдержаться и заплакала — мне было очень жалко Лену. Наташа еще сказала, что ребят не следует бояться: «Они уже многим помогли и тебе по-

могут». На кладбище спокойно, облав нет и людей почти нет — ведь зима. Я была такая счастливая и верила ей.

На следующий день Наташа пришла очень расстроенная и сказала, что румыны арестовали почти всех ребят. Оказалось, что на Привозе какой-то мужик указал патрулю на ребят как на воров, и их забрали. (Румыны не терпели воров, избивали их до неузнаваемости. Это я сама видела, когда сидела в полиции, и об этом я еще расскажу.) Поэтому я очень испугалась, так как ребята были совсем юные — 13 – 15 лет. Потом Наташа сказала, что нашла место («теплый сарай») и завтра туда перенесут Лену. Она также договорилась с врачом. Наташа также постарается узнать что-либо о ребятах. Утром Наташа, предупредив, что придет не одна, ушла. Лена сильно кашляла, и ей становилось все хуже. Единственная надежда была на то, что Наташа сегодня заберет Лену и спасет ее. Весь этот день я ждала. Каждый час, каждая минута казались вечностью. Все шептала: «Уже скоро, скоро…» Так я дождалась сумерек и все прислушивалась к каждому шороху. А Наташа не появлялась… Наступила ночь. Я всю ночь провела с Леной. Мне казалось, что эта ночь самая страшная за все время со дня начала войны.

Больше Наташу и ребят я никогда уже не видела. Так и по сей день не знаю, что случилось. Из того, что мне говорила Наташа, я только могу догадываться… Несмотря на то что Наташа русская, она тоже боялась ночевать дома. Где ее родные и с кем она живет — она не говорила, а я не спрашивала. Я поняла, что и она боялась, чтобы ее не узнали. К тому же ее разговоры о партизанах… Я была уверена, что с Наташей произошло несчастье. Что делать? Что делать? Одно было ясно, что оставаться на кладбище нельзя. Но как же Лена? Ведь надо спасать Лену… И сама себе отвечала: «Спокойно, спокойно,

сейчас придумаю…» Единственное, я твердо знала, что Лену с кладбища надо забрать и нужно было найти людей, которые бы устроили Лену, — ведь она была еврейкой. Но как довериться, ведь не знаешь людей. Кто поможет, а кто предаст? В лучшем случае, только откажет…

И все же нужно было идти в город. Я сказала Лене: «Леночка, пойду в город, что-нибудь придумаю. Жди меня, я тебя не брошу». Леночка ничего не ответила. Я накрыла ее всеми тряпками, которые там были, и пошла. Я очень промерзла и чтобы как-нибудь согреться, заходила в магазины и становилась в очередь, но когда оставалось человека три до меня, то уходила. Так я немного отогревалась. Потом пошла на Привоз в надежде, что увижу Наташу. Но Наташу я не нашла. У меня были марки, так как я раньше продала белье. Мне нужно было что-нибудь купить для Лены, и я решила пойти в молочный корпус. Много денег тратить я не имела права и поэтому делала вид, что пробую, как это было принято в Одессе. Я ходила по прилавкам и пробовала творог, брынзу, масло. А когда приглушила голод, то купила. Конечно, был большой риск так свободно ходить по базару (но где его не было?). Ведь меня могли выдать. К тому же периодически устраивали облавы. Ведь каждая минута жизни могла быть последней. Но без Привоза мне было не выжить. На сей раз все обошлось благополучно. Я купила творог, масло, а потом вышла из молочного корпуса и купила семечки и лепешки из гороха. Значит — еда есть. Но все это время, пока я находилась в городе и на Привозе, я ни на минуту не прекращала думать о Лене, как забрать ее с кладбища. Я ходила и все смотрела на лица людей. Все время думала: «К кому подойти? Кто поможет?» Я все не решалась — боялась.

Я вышла с Привоза, пошла по улице Карла Маркса, зашла во двор и постучалась в какую-то квартиру. Дверь

открыла женщина. Я ей объяснила все. Ответила: «Уходи, уходи — у соседей живут румыны». Я зашла еще в две квартиры, но все повторилось. Я была в отчаянии, не знала, что делать, и вернулась на кладбище. Когда я пришла, Лена была без сознания. Я села и прижалась к ней. Так и не заметила, как заснула. Ночью Лена пришла в себя, и я положила ей в рот масло. Так я еще одну ночь была рядом с Леной. Потом опять пошла в город. Рискуя, пыталась еще раз спасти Лену, но никто и слушать не хотел. Еще повезло, что меня не выдали. Когда пришла на кладбище, то Лена была мертва. Всю ночь я просидела возле Лены, а утром ушла…

Снова я заходила в магазины, чтобы согреться. Потом опять пошла на Привоз. Я все еще надеялась, что встречу кого-нибудь из ребят. Подошла к корпусу, где продавали супы, каши, чай, пирожки, купила гороховые лепешки и выпила горячий чай. А теперь куда? До вечера я обычно ходила по городу, стараясь дважды не появляться на одной и той же улице, и грелась в магазинах. Иногда я думала: «Зачем все это? Все равно не сегодня, так завтра наступит конец и не лучше ли самой добровольно?» Но в этот миг я видела немцев и румынские патрули, и все сомнения отпадали — только бы не попасться в их лапы.

Идти на кладбище было выше моих сил. Я решила еще раз пробраться в свой дом. Если квартиру еще не вскрыли, то я там переночую, а если уже кто-то ее занял, то пойду тихонько на чердак. После кладбища на чердаке уже был рай. Больше никаких вариантов у меня не оставалось. Когда я стала выходить с Привоза, то меня заметила одна девочка-русская, с которой мы учились в одной школе. Она шла с матерью и когда остановилась возле меня, то я отвернулась. Мне было стыдно, и я не хотела, чтобы мои соученики видели меня такой униженной и такой жалкой. Но она взяла меня за руку и сказала:

«Вот моя мама». Мне пришлось остановиться, и ее мать стала спрашивать о моей семье. Я сказала, что мама с сестричкой ушли на Слободку, а я нахожусь где придется. Они по моему виду поняли, что я живу на улице. Мать девочки рассказала, что они живут в доме по улице Свердлова, 81 («Павловское здание»), и они велели мне одной прийти к ним, так как со мной они боялись идти. Мне было стыдно и обидно, но что делать? Они велели обязательно к ним прийти и постучаться условным стуком.

Когда я пришла, то в квартире была еще бабушка. Меня покормили, я выкупалась, переоделась, и мне разрешили постирать. Потом меня отвели в кладовку, где стояла детская железная кровать. Я легла, но не могла уснуть, меня трясло несмотря на то, что в квартире было тепло. Пришла девочка и рассказала, что мать работает у немцев и постарается сделать мне документ, но это будет дорого стоить. Я ответила, что мама оставила наши вещи у соседа и зашила в подушки шкуры выдры и лисы (ведь отец был скорняком). Я сказала ей, что напишу записку и попрошу соседа отдать подушку и покрывало. Девочка взяла записку и велела мне лежать тихо. Затем она закрыла дверь. Вечером были слышны музыка и смех, а утром я услышала немецкую речь. Потом все стихло, и через некоторое время меня выпустили. Пришла мать девочки и сказала, что ей ничего не дали, так как сосед заявил, что уже приходила за вещами моя мать и он отдал. Я решила идти сама. Они меня отговаривали, что из-за вещей сосед может выдать. Но я верила соседу, и притом другого выхода у меня не было.

Выждав, когда в нашем дворе никого не было, я поднялась на третий этаж. Дверь открыла жена соседа и стала шептать: «Уходи, уходи, я боюсь — увидят». Я сказала, что не зайду: «Дайте мне только подушку и покрывало». Соседка ответила: «Вчера приходила женщина с запиской

от тебя и мы ей отдали». Я не стала ей перечить и попросила дать еще одну подушку, сказав, что прячусь в подвале, а там очень холодно. Она принесла подушку и сказала: «Бери, но больше не приходи и никого не присылай, я больше ничего не дам, так как ты не хозяйка. Мама давала, пусть сама и приходит». Я ответила, что даже не знаю, жива ли моя мама. Соседка сказала: «Ничего знать не хочу» и закрыла дверь. Я поднялась на чердак, распорола подушку и вытащила шкуру выдры, а затем вернулась к ним.

Когда я принесла шкуру, то мать девочки сказала, что этого мало. Я ответила: «У меня есть еще старинное колечко — подарок бабушки, и это единственная ценная вещь, которую мама мне зашила на крайний случай, и вот он настал». Я все отдала ей. Она обрадовалась и сказала, что теперь этого будет достаточно, чтобы достать документ и зарегистрировать его в полиции: «Теперь все будет по-другому. У меня есть очень хорошие люди. Я договорюсь, и они возьмут тебя к себе. Нужно будет только перекрасить волосы в белый цвет». Я сказала, что если останусь жить, то никогда не забуду и расскажу всем, что она спасала людей. Она успокоила меня и сказала, что все будет хорошо. Вечером, когда я находилась в кладовке, опять слышала музыку и смех. Утром они мне сказали, что два немецких офицера будут у них жить и поэтому я должна уйти. Я спросила: «А когда будет готов документ? Я просто не знаю, куда мне идти». Мать ответила: «Но что же делать? Без документа мы не можем тебя держать. Ведь ты же понимаешь, что это гибель для тебя и для нас». Они дали мне хлеба, кусок мяса и велели продержаться два дня. Когда я через два дня пришла, то они меня не впустили и сказали, что документ еще не готов. Когда я в последний раз пришла к ним, то девочка сказала, что мама

очень расстроена: «Она очень хотела спасти тебя, но ее обманули, все забрали, а жаловаться нельзя. Мне тебя очень жалко, но ничем помочь не могу». Она протянула мне через порог два яблока и закрыла дверь…

Эти дни, пока ожидала документ, я ночевала в подвале разбитого дома на Пироговской улице. Днем я бродила по улицам, заходила на Привоз (базар), грелась в магазинах. Старалась дважды не ходить по одной и той же улице, чтобы не привлекать внимания.

Когда моя соученица захлопнула дверь, то я почувствовала, что это конец — больше бороться не могу. Ведь спасение было так близко. Они были ко мне очень добры и старались меня спасти. Я им так верила… Да, все рухнуло. Я почувствовала, что мне очень холодно и очень болит голова. Я стояла в парадной у закрытой двери и не могла двинуться с места, но тут услышала, что на верхнем этаже открылась дверь, и я пошла вниз. Вышла со двора и пошла по улице Свердлова. Я шла и не знала, куда мне идти. После того как я потеряла ребят и умерла Лена, на кладбище я не была. Решила походить по улицам, а перед комендантским часом пробраться к себе домой и, если только квартира еще не занята, то находиться дома, пока меня не выведут оттуда насильно.

Когда я проходила мимо дома №64 по улице Свердлова, меня увидела дворник этого дома — баба Варя. Она меня знала буквально со дня рождения. В этом доме жил мой дедушка и жили две моих тети с семьями. Увидев меня, она прошептала: «Боже, ты еще жива? Ведь ваших всех выгнали, разрешили остаться пока только Рахили с детьми». (Рахиль была младшей сестрой моей матери.) Дом был маленьким, двухэтажным, и жильцов было немного. Никто тетю не выдавал, хотя разрешение было временным. Наоборот, соседи приносили еду и помогали чем только могли. Баба Варя

сказала, что очень любила всю нашу семью и ей меня очень жалко. Спросила, где я живу и кто меня прячет. Я ей коротко рассказала, что папу повесили, а маму и Адочку выгнали на Слободку и я не знаю, там ли они еще или их уже нет в живых. Я осталась одна, и сегодня мне уже негде прятаться.

Баба Варя велела мне походить по городу, а перед комендантским часом, когда стемнеет, подойти к воротам дома, но не позже 18 часов, так как в это время она закрывает ворота.

Я сделала все, как она велела. К 18 часам я подошла, она меня уже ждала, впустила и сказала, чтобы я шла к своей тете Рахили. Тете тогда было 28 лет. Она жила в полуподвальном помещении. Когда я зашла к ней, то увидела такую картину: тетя сидела на кровати, волосы были распущены и она была как безумная. Один ребенок прыгал по кровати и плакал, а другой, годовалый, лежал в кроватке и спал. Когда тетя увидела меня, то рыдая стала просить уйти, так как из-за меня ее могут выгнать. Мне пришлось уйти… Во дворе рядом был еще такой же подвал, жильцы которого были эвакуированы. Я тихонько спустилась в подвал и всю ночь просидела в коридоре на полу.

Утром мне было страшно подняться наверх. Когда я все же стала выходить из подвала, то баба Варя подала мне знак спуститься вниз. Вскоре баба Варя пришла. Я ей все рассказала. Она мне сказала: «Не обижайся на тетю, ведь у нее двое маленьких детей и она сама очень больна. Мне тебя очень жаль и больно на тебя смотреть. Но ты же знаешь, что у себя спрятать тебя не могу, так как ко мне часто заходят патрули и предупреждают, что если найдут хоть одного еврея, то повесят меня на воротах». Баба Варя велела мне пойти в соседний дом, где жила двадцатилетняя девушка с братишкой. Она не была похожей на

еврейку, а друзья достали ей русский паспорт и помогли поселиться в квартире угнанных этапом евреев. Соседям сказали, что ее дом был разрушен при бомбежке. Я сказала этой девушке, что меня прислала баба Варя.

Девушка приняла меня хорошо: искупала, накормила, все вещи, что были на мне, сама перестирала, а мне велела отдыхать. Я легла и проспала весь день и всю ночь, не просыпаясь. На следующее утро она меня разбудила и покормила. Потом она рассказала, что в последнее время некоторые соседи говорили ей, что идут слухи о том, что она еврейка. Поэтому находиться мне у нее нельзя, так как она не знает, что еще будет с ними. Но она постарается что-нибудь придумать. У нее есть подруга Геня Рискер, которая жила в доме № 72 по улице Свердлова. Сейчас квартира закрыта, а сама она живет у румынского офицера и поэтому ее не трогают. Родные Гени находятся в гетто на Слободке, но этот офицер договорился с комендантом гетто, чтобы их не отправляли этапом. Девушка сказала, что сейчас пойдет к ней, возьмет ключи от квартиры и вечером мы тихонько проберемся туда. Она принесла ключи и привела меня в эту квартиру. Она сказала, чтобы я тихонько сидела и свет не зажигала. Девушка обещала прийти на следующий день. Господи, какое счастье: я в квартире, а главное — у меня снова есть друзья.

На следующий день, к вечеру, пришла Геня (я ее не знала, но мы жили на одной улице Свердлова: она в доме № 72, а я в доме № 75). Она принесла еду, мы поели, и она осталась ночевать. Говорили мы с ней шепотом. Утром, когда она уходила, то сказала, что еще придет. О себе она ничего не рассказывала, а я ее и не спрашивала.

Мне известно, что были девушки, пытавшиеся подобным образом спасти свою жизнь. Однако никто из

них в живых не остался, так как когда румынского офицера отправляли из Одессы, то девушек забирали и поступали как с остальными евреями. Геню постигла та же участь — она погибла…

Я прожила у Гени еще два дня. Она еще один раз приходила ко мне, и я была счастлива. На четвертый день я услышала, что кто-то стучится в дверь, и за дверью были слышны голоса женщины и мужчины, которые пытались открыть дверь. Я замерла, мне стало страшно, в голове промелькнуло: это конец. Женщина сказала, что все равно она дверь откроет, и велела мужчине оставаться, а сама пошла за топором. Я стояла и не знала, что мне делать. Потом стало тихо. Через некоторое время я опять услышала голоса и удары — пытались открыть дверь. Тогда я решила сама открыть дверь: ведь все равно они ее откроют.

Ворвалась женщина с таким искаженным злостью лицом, что было страшно на нее смотреть. Это была дворник. С ней вошел высокий здоровый молодой мужчина (квартиры евреев постепенно заселялись: договаривались с дворниками и с управдомами и покупали квартиры).

Они бросились на меня, и женщина стала меня трясти. Она кричала: «Как ты сюда попала? Воровка, я сейчас поведу тебя в полицию». Она меня так трясла, что я не могла выговорить ни одного слова. Я сказала, что не воровка и что меня сюда привели. Она кричала: «Кто привел? Геня? Геня здесь не хозяйка! Твоя Геня — проститутка, она живет с румыном! Ваше место давно на кладбище, а вы здесь устраиваете притон. Убирайся и скажи спасибо, что я не позвала патруль. И не потому, что я тебя жалею, а просто я боюсь. Из-за тебя, дрянь, я могу пострадать». Все время, пока я одевалась, она продолжала кричать. Когда я выходила, этот молодой

мужчина ударил меня в лицо так, что потекла кровь из носа, а он рассмеялся и вытолкнул меня из квартиры.

Мне очень хотелось пойти к бабе Варе, но я боялась причинить ей горе. Ведь она была такая добрая, рискуя жизнью, помогала многим евреям. Мне было обидно, и я никак не могла понять, за что меня так ненавидят люди. Что я им сделала плохого? За какие преступления карают меня? Наоборот, когда я ходила в школу, то мама мне давала деньги на завтрак, а я их раздавала бедным старушкам, просившим милостыню. В школе я тоже всегда делилась всем с девочкой, у которой не было отца. Я шла по улицам своего родного города как затравленный зверек и боялась хоть на миг остановиться. Я все шла и шла, а голова гудела после удара и стоял шум в ушах. Целый день я была на ногах. Я очень устала, ноги гудели, и я их еле передвигала. Вдруг я увидела скамейку, оглянулась и поняла, что нахожусь в каком-то скверике. Это был Александровский сад. Я не выдержала и решила присесть хоть на несколько минут. Конечно, это было очень опасно, так как был морозный январь 1942 года.

Скамейка была покрыта ледяной коркой. Недалеко, возле дерева, стоял старик и просил милостыню. Не помню, сколько времени я просидела, но вдруг почувствовала, что кто-то меня толкает, и услышала, как будто издалека, что мне кричат. Я открыла глаза и увидела возле себя стоящего старика. Он сказал: «Ты почему здесь сидишь? У тебя нет дома? Где ты видела, чтобы в такой мороз люди сидели в саду на скамейке?» Он еще сказал, что уже замерз и сейчас пойдет домой и, если я хочу, то могу пойти с ним. Я ответила, что приехала из деревни в гости к тете, а ее дома не оказалось и я хочу ее подождать (вот такую версию я приготовила на всякий случай). Старик ответил, что все понял… Он спросил: «Ну, так ты пойдешь?» Он был

высоким, худым и очень старым. Сначала я сидела и боялась идти, так как не совсем поверила ему. Мысли путались: может быть, он действительно хочет помочь, а может быть, он меня сдаст в полицию. Но в этот момент мне было уже все равно. Силы меня совсем покинули, ноги отказывались идти, и в эту минуту я даже обрадовалась, что кончатся мои мучения и наступит конец… Я хотела подняться, но не смогла. Он, видно, понял, что я замерзаю… Старик сердито сказал, чтобы я немедленно поднялась, и протянул мне руку. Я с трудом встала. Он сказал: «Иди за мной». Я пошла, шла и думала: «Ну, все, это конец. Конец моей борьбе и моим страданиям, сейчас он сдаст меня патрулю». Один внутренний голос говорил: «Беги, спасайся!» А другой голос говорил: «Куда? Тебе некуда бежать, это твой последний день: или ты замерзнешь на улице, или окажешься опять в руках убийц». И все же оставалась надежда… Пока человек жив, у него до последней минуты теплится надежда… А вдруг он действительно добрый человек и хочет мне помочь… Так я шла за стариком и все думала. Господи, я опять жива: он привел меня к себе домой!

Теперь мне кажется, что если бы этот добрый старый человек жил один в отдельной квартире, то он держал бы меня долго у себя, а может быть, и до конца, до победы над фашистами. (К моему несчастью, у него была только одна большая комната в коммунальной квартире. Он мне позже сказал, что раньше вся эта квартира была его.) Он велел мне раздеться и предупредил, что соседям он скажет, что к нему приехала внучка друга. Я опять находилась под крышей.

Старик вскипятил воду, а на бумагу положил собранное подаяние. Там были кусочки хлеба, какие-то огрызки пирожков, кусочки сала, конфетки и еще много всяких кусочков. Я пила так называемый чай, и эти минуты были блаженством, а он мне все подвигал эти

кусочки и говорил: «Кушай, кушай». Потом старик указал на топчан и сказал: «Вот здесь ты будешь спать». Но как же там было грязно! В комнате стоял очень тяжелый запах. Но для меня это было такое счастье. Ведь я жива, я не замерзла, и главное — меня приютил такой добрый человек. Всю ночь я не спала, все шептала: «Господи, пусть он меня завтра не выгонит, пусть оставит еще хоть на денек». Мой добрый спаситель тоже до полуночи сидел на кровати и все качал головой…

Утром он сказал, что его зовут Константином Ивановичем, он сейчас уйдет, а я могу остаться. Константин Иванович предупредил, что если мне нужно будет выйти, то это следует делать, когда в коридоре никого не будет. Потом мы с ним тихонечко прошли в коридор, и он показал мне туалет, а воду он принес в комнату. Константин Иванович ушел, а я осталась. Я была так счастлива! Ведь за окном сильный мороз и смерть, а я в эти минуты еще жива и нахожусь в квартире в безопасности. Надолго ли? Но об этом не хотелось думать. Нужно наслаждаться каждой минутой, секундой жизни…

Днем я хотела немножко навести порядок, но это было просто невозможно: так было грязно. Я подмела, застелила постели, погрызла корочки хлеба и легла, так как очень болели ноги: пальцы ног были распухшие, красно-синие и пульсировали.

Я выбрала момент, когда в коридоре никого не было, и тихонько пробралась в туалет. Когда я выходила из туалета, то меня увидела соседка. Она стала расспрашивать: откуда я приехала и кем прихожусь деду? Я ответила, что мой дедушка — очень хороший друг Константина Ивановича. Соседка сказала, что он одинокий и что она не слышала о каких-либо его родственниках или друзьях. Потом она добавила, что у Константина Ивановича нече-

го кушать, и пригласила меня к себе пообедать. Я поблагодарила ее и сказала, что привезла все с собой. Соседка ответила, что если мне нужно будет что-либо, то я могу обратиться к ней. Поблагодарив ее, я ушла в комнату.

Вечером Константин Иванович пришел домой и разжег на кухне примус, чтобы вскипятить воду. На кухне соседка, так мило говорившая со мной, сказала ему: «Зачем вы прячете еврейку? Если об этом узнают, то вся квартира пострадает. Если вы ее не выгоните, то я сама заявлю». Когда Константин Иванович вошел в комнату, то все рассказал мне. Он был очень возмущен и сказал, что ничего не может сделать. Он разрешил эту ночь переночевать, а утром мне следует уйти.

Конечно, всю ночь я не спала. Дедушка тоже всю ночь просидел на кровати и все качал головой. Утром я не смогла надеть туфли, так как распухли ноги. Константин Иванович это увидел и предложил мне старые стеганые мужские валенки с галошами. Я надела их, но они были очень велики и спадали. Дедушка дал веревочку, и я привязала их к ногам. Туфли с ботиками я оставила ему. Когда я стала благодарить Константина Ивановича, то он заплакал и сказал: «Пойми меня, детка. Мне очень горько, что я тебя отправляю на смерть. Ведь я очень стар и не помню за собой такого греха, чтобы в конце жизни мне пришлось за него так расплачиваться. Но если я оставлю тебя, то все равно не спасу и меня вместе с тобой отправят этапом и я буду тебе только обузой. Если же ты будешь одна, то, может быть, удастся спастись». Он перекрестил меня. Я отшатнулась, но он сказал: «Не бойся, неважно, что ты еврейское дитя, ведь Бог один для всех и Бог тебе поможет. Как много злых людей, а это потому, что они не ведают, что творят». Мы попрощались, и я сказала, что если только останусь жива, то обязательно приду к нему.

(Я осталась жива и свое слово сдержала. Но увы! Соседи сказали, что Константин Иванович вскоре после моего ухода заболел, целый месяц не выходил из дома и умер… Мне было очень больно и горько, и по сей день эта боль осталась в моем сердце… Тогда же его соседка стала своим ангельским голоском говорить: «Пойми, я тебе ничего плохого не хотела.., но что тут поделаешь: ведь было такое время…» Но выгоду из этого времени она получила — заняла комнату Константина Ивановича.)

Я ушла от Константина Ивановича и опять оказалась на улице. Когда я оказывалась на улице после очередного спасения, то у меня было, конечно, больше сил и не так было холодно. Но после того как я побуду в квартире со свободными и не обреченными на смерть людьми, то мне еще страшнее было умирать. После встречи с Константином Ивановичем у меня опять появилась вера в людей. Я еще раз убедилась, что на свете есть не только злые, но и добрые, чуткие люди (правда, к сожалению, в настоящее время их становится все меньше и меньше), и нет для них значения, какой национальности человек, был бы он только человеком.

Поэтому я решила пойти к своей русской подруге Ане Долговой: может быть, она еще раз сможет для меня что-либо сделать. Когда я позвонила в квартиру, то дверь мне открыла незнакомая женщина и сказала, что Аня теперь живет внизу, в полуподвале (у них была прекрасная квартира, но немцы ее заняли). В этом доме находился какой-то немецкий штаб. Все же я набралась храбрости и с черного хода постучала в дверь. Мне открыла дверь Аня и очень удивилась, когда увидела меня. Она была уверена, что меня уже нет в живых. Аня с матерью накормили меня. Мы сидели с Аней, и она рассказала,что ее мама работает у немцев поварихой и к ним ходят немцы. Я у них

переночевала, а утром решила, что здесь мне нельзя оставаться: сама не спасусь и их погублю. Я сказала Ане, что все понимаю и мне надо уйти. Они меня не удерживали, дали с собой еду, и я ушла.

Я уже много написала, и, может быть, мои родные, друзья и все, кто будут читать, скажут: «Сколько можно писать об одном и том же?» Но как же мне объяснить? Да, жизнь — смерть, смерть — жизнь. Но для меня и таких людей, как я, это было не одно и то же. Ведь это каждый день, каждый час, каждая минута, каждая секунда — борьба за жизнь. Новый эпизод, и новые переживания, и новая надежда… Для меня это было каждый раз новое, а главное — надежда, без которой невозможно было бы бороться. Поймите меня, ведь прошла Вторая мировая война, и все послевоенные поколения знают о страшной войне, в которой погибли миллионы людей. Но если подумать, что каждый из этих миллионов — это неповторимая жизнь и когда погиб один молодой солдат, то это значит, что погибли еще его нерожденные дети, внуки, правнуки, и тогда понятно, что погибло во много раз больше людей. Ведь война — это насилие. Фашистский же геноцид еврейского народа — это убийство ни в чем не повинных женщин, детей, стариков, которые были зверски уничтожены только за то, что они родились евреями. Фашистский геноцид еврейского народа является величайшим преступлением в истории человечества.

Я опять нахожусь на улице и снова хожу по городу и не знаю, где буду ночью, так как комендантский час начинался с 18 часов. У меня все же теплилась надежда, что я увижу Наташу или ребят, с которыми была на кладбище. Поэтому я решила пойти на Привоз. На Привозе я встретила мамину подругу. Вид у нее был ужасный, и было трудно ее узнать. Она мне рассказала, что

ее и ребенка пяти лет, Фимочку, прятали в сарае соседи-украинцы. А сегодня утром прибежал соседский мальчик и сказал, чтобы они ушли из сарая, так как пришли румыны с дворником и требуют выдать «жидлан», а его мать ответила, что никого у них нет и она ничего не знает. Румыны стали прикладами бить мать, а мальчик побежал предупредить. Ей пришлось с Фимочкой убежать, и она не знает, что произошло с ее соседями-украинцами, и она очень беспокоится. Сейчас они с Фимочкой находятся в разбомбленном доме. Она сказала мне: «Я пришла на Привоз, чтобы найти крестьян, которые захотят взять моего ребенка и спасти его. Ведь мой ребенок совсем не похож на еврея». Я ей ответила, что пусть попробует, но будет осторожна. Я предложила пойти выпить чай (на базаре женщины продавали чай, супы, пирожки с горохом и т.д.). Но она ничего не ответила, так как, вероятно, не слышала меня, и ушла.

Я пошла, выпила чай, потом походила по базару, но Наташу и ребят не нашла. Я решила зайти в молочный корпус, чтобы согреться и купить немного творога. Вдруг торговка, у которой я хотела купить творог, стала кричать: «Вы смотрите — это же жидовка!» Все вокруг зашумели, а она вопила: «Эта жидовка вчера украла у меня кошелек с деньгами. Хватайте ее!» Тогда один крестьянин с белыми нарукавниками, тоже торговавший молочными продуктами, выбежал из-за прилавка, схватил меня и заломил руки за спину. От боли у меня в глазах потемнело. Прибежал еще один мужчина, и они вдвоем потащили меня из корпуса к выходу. Я молчала и с ужасом думала, что со мной будет. А вокруг кричали: «Жидовка, воровка!» Когда мы вышли из корпуса, то мужчина, который подошел позже, сказал крестьянину: «Иди на свое место торговать, а я сам отведу ее в полицию». Крестьянин отпустил меня, выругался

и сказал: «Надо же, какие жиды живучие! Сколько уж времени их уничтожают, а они все живут», сплюнул и ушел. Второй мужчина повел меня к воротам базара. У входа на базар стояли палатки. Он открыл дверь одной палатки и велел мне войти. Потом сказал: «Садись сюда, с этого места тебя через окошко не будет видно. Не бойся, я тебе ничего плохого не сделаю». Я сказала ему, что вчера на базаре меня не было и кошелек у нее не крала, а сегодня пришла, чтобы купить творог, и показала марки. Он ответил: «Я все понимаю и верю тебе. Только одного понять не могу: откуда берется такая жестокость, чтобы так издеваться и унижать людей? Ведь эти люди, которые издеваются, не фашисты, ворвавшиеся в нашу страну. Это ведь наши люди…» Я вся дрожала и чувствовала сильную боль в руках. Он включил электроплитку, дал мне кусок хлеба и сумочку, которую я уронила, когда крестьянин схватил меня. Мужчина сказал, что выйдет, а меня закроет, чтобы я согрелась и успокоилась. Он ушел, а я сидела и думала: «Что же дальше будет со мной? Я даже не знаю, где мне сегодня ночевать. Может быть, попросить его оставить меня в палатке до утра?» Я немного согрелась и, видимо, задремала. Когда он пришел, то рассказал мне: «Я был в молочном корпусе и сказал всем, что отвел тебя в полицию». Спросил: «Ну как, успокоилась? Теперь тебе нужно уйти. Сейчас придет жена, а я за нее не ручаюсь». Он дал мне 10 марок и сказал, что больше ничего для меня сделать не может. Я ответила: «Я Вам так благодарна! Я просто не представляю, что было бы со мной, если отправили бы в полицию. Мало того что я еврейка, так еще и воровка, а Вы сами знаете, что румыны делают с ворами: они избивают их до полусмерти». Мужчина ответил: «Они сами воры, а воров не любят».

Я ушла с Привоза и опять бродила по городу, а перед комендантским часом пробралась в подвал дома № 64

по улице Свердлова, где дворником была баба Варя. Какое счастье, что дверь в квартиру была открыта! Потом баба Варя сказала, что она специально оставила дверь открытой, так как надеялась, что я жива. Я тихонько пробралась в комнату и, нащупав в темноте кровать, легла.

Боже, какое блаженство: опять несколько часов счастья! Как бы я хотела просидеть здесь до конца войны, ведь война кончится летом. Только бы пережить зиму. Так я думала в январе 1942 года. Лежала и размышляла: я здесь лежу одна, а ведь недавно были у меня мать, отец, сестричка, бабушка, родственники. Была большая дружная семья. Где они все? Когда я была маленькой, то мама часто приводила меня к дедушке, и в этом дворе я играла, а теперь у меня никого нет и я нахожусь в этом доме одна и прячусь, так как не имею права жить. Но я пока еще жива…

Очень хотелось спать, но заснуть не могла: у меня чесалось все тело. Утром решила как можно дольше продержаться в этой квартире. Я лежала, но состояние было ужасное: ощущала сильный зуд. Потом услышала шаги и шепот: «Не бойся, это я» — пришла баба Варя. Она еще вечером видела, как я зашла во двор. Баба Варя сказала, что очень обрадовалась, увидев меня живой.

Баба Варя узнала, что моя двоюродная сестра Адель вышла замуж за русского парня и он сделал ей русский паспорт (Адель не была похожа на еврейку). Потом баба Варя сказала: «Пойди к ней. Может быть, она тебя спрячет». Адель до войны жила в этом доме с матерью и двумя сестрами. Средняя сестра перед войной уехала в Ленинград, и ее судьба тогда мне была неизвестна, а ее мать с младшей дочкой Фридочкой были угнаны на Дальник и их расстреляли. Я думала, что и Адель тоже погибла. Но какое счастье: оказывается,она жива, а русский парень, с которым она встречалась еще до войны, женился и спас ее.

Это сообщение меня так обрадовало, что в эту минуту я забыла об осторожности и стала просить бабу Варю сказать адрес и все шептала: «Ну скажите же мне, скажите». Баба Варя ответила: «Конечно, я тебе скажу, но прежде поешь и успокойся». Я была так взволнована: ведь случилось чудо — у меня есть единственный родной человек, который живет свободно, спокойно в этом аду без страха, и я уверена, что Адель не даст мне погибнуть, что-то придумает, и не только она, но и ее муж. Какое счастье… Я успокоилась и поела. Баба Варя объяснила мне, как найти Адель. Потом она сказала: «Пойдешь, но только попозже, ближе к комендантскому часу. Если увидишь, что в квартире есть люди и она не одна, то сделай так, будто просишь милостыню. Не подводи ее». Баба Варя мне еще рассказала, что у них в одной квартире, из которой были выгнаны евреи, поселился румын с женой и детьми и поэтому нужно быть осторожной. Она велела мне отдыхать и сказала, что даст знать, когда можно будет выйти.

Незадолго до начала комендантского часа я направилась к своей двоюродной сестре. Она жила на Пушкинской улице, угол улицы Чижикова. В доме были черные высокие ворота и узкий длинный двор, а слева находился двухэтажный флигель. На втором этаже жила Адель. Увидев меня, она испугалась, закрыла лицо руками: «Ты жива?», а потом прошептала: «Тебя никто не видел?» Я ответила, что очень осторожно прошла. Адель спросила: «Ты не заметила, на первом этаже у соседей занавески были задвинуты?» Я сказала, что на все обратила внимание и можно не волноваться. Она велела подняться на чердак. Туда вела узкая деревянная лестница. Часть чердака была отгорожена деревянной ширмой и была подобна комнатке. Там было очень чисто. Потом Адель принесла постель и еду. Я уже говорила, что с прошлой ночи у меня был сильный зуд. Осо-

бенно чесались ладони, пальцы и живот. Адель заметила это и спросила: «Что это у тебя?» Я не знала, что ответить. Она нагрела воды и на чердаке искупала меня, а потом сказала: «Это у тебя чесотка». Мое тело было покрыто сыпью и в некоторых местах нарывало. Она взяла мою одежду, чтобы постирать, дала мазь и сказала: «Тебе станет легче».

Утром Адель принесла чистую одежду. Она мне сказала, что всю ночь сушила ее у печки и утюгом. Адель велела зайти в квартиру. Я ей сказала, что наша тетя Рахиль пока находится дома. Адель рассказала, что соседка, живущая напротив, дружит с ней, но она ей не доверяет. Вообще в последнее время она очень боится. Соседка недавно сказала, что ее спрашивали: не боится ли она дружить с жидовкой? Соседка им ответила: «Это клевета. Ведь мы с ней вместе ходили в полицию регистрировать паспорта». Затем соседка сказала Адели: «Да это просто абсурд. Ведь ты совсем не похожа на еврейку». Сестра мне рассказала, что ее муж, когда узнал, что пошли такие слухи, испугался и уехал к матери в деревню. Теперь Адель каждый день ждет, что за ней придут. Она велела мне уйти, а вечером незаметно прийти, предупредив, что в начале двора на первом этаже живет дворник. Также не следует заходить, если внизу у соседей не будут задвинуты занавески.

Я ушла и опять весь день бродила по городу. Жизнь в городе стала налаживаться. Евреев в городе уже не было, за исключением таких, как я, пытавшихся во что бы то ни стало выжить. Люди работали, ходили по магазинам, в церковь, дети ходили в школу, а моя подруга Аня Долгова училась в медучилище. Все больше и больше стали открываться маленькие магазинчики, мастерские, закусочные, кабачки и т.п. Из окон подобных заведений слышалась музыка. Многие даже забыли, что идет страшная кровавая война. Да, многие, но не все… На улице был конец января 1942 года.

Вечером я опять пришла ночевать к Адели. Она была очень расстроена и рассказала: «Сегодня заходили во двор румыны, и я боялась, что это уже за мной». Адель опять отвела меня на чердак и обработала мазью. Вторую ночь я провела спокойно, и мне стало немного легче.

Утром я опять ушла. Вечером Адель меня уже не впустила, велела уйти и ждать ее на следующем квартале. Когда она подошла, то сказала, что дворник принес ей повестку и завтра она должна явиться в полицию. Она дала мне 30 марок, мамалыгу и мазь. Адель спросила: «Куда ты теперь пойдешь?» Я ответила: «В подвале у бабы Вари мне было бы неплохо. Она открыла квартиру ваших соседей, и я могла бы ночевать там, а весь день бродить по улицам. Ты же знаешь, у вас дом маленький, а соседи добрые и дружные, тем более что все они знают меня с детства. Но я боюсь причинить горе бабе Варе, так как в квартире, где жила семья Штеренбергов, поселился румын с семьей». Близился комендантский час, и я сказала: «Сегодня попробую успеть пробраться на кладбище, а завтра посмотрю, что делать. Адель, ведь нужно продержаться до весны, ведь весной фашистов прогонят и придут наши, только бы продержаться…» Мы обнялись и расстались. Больше я ее никогда не видела — она погибла. (Позже, когда я вошла с войсками в Одессу 10 апреля 1944 г., то пошла в дом, где жила Адель во время оккупации. Мне рассказали, что еще зимой 1942 г. пришли румыны и увели ее. Соседка рассмеялась: «А что бы ты хотела? Ведь она была жидовкой, и даже русский паспорт ей не помог!» Мне стало так больно, и я ответила ей: «Да, ты русская, но не достойна вообще иметь паспорт. Ведь ты позоришь русскую нацию!»).

Я опять осталась одна на улице. Близился комендантский час, и я поспешила на кладбище, пробралась через лазейку, где мы проходили с ребятами. Я прошла к склепам,

где мы раньше прятались. Сначала я подошла к склепу, где оставила Лену, и в первый раз за все время у меня потекли слезы… Потом направилась в другой склеп, где раньше прятались ребята. Ночью я поняла, что дожить до весны — несбыточная мечта. Даже Адель, имея русский паспорт, все равно боится, что ее выдадут. Все же добровольно пойти в полицию я не могла — это было выше моих сил. Я старалась думать о весне: какое это прекрасное время года в Одессе, зацветет акация и кончится война. Придет этот блаженный день, и не нужно будет никого бояться… Боже, если останусь жива, то всегда буду чувствовать себя счастливой.

(Правда, всю жизнь, как бы трудно ни было, а жизнь и потом меня не баловала и здоровье было подорвано, но я чувствовала себя счастливой, так как всегда сравнивала свою жизнь с пережитым. Но еще долго, встречаясь с милиционером, я вздрагивала: никак не могла привыкнуть, что это наша милиция, а не румынская полиция, от которой нужно прятаться. Да еще ночами я никак не могу избавиться от кошмарных снов. Мне постоянно снится война и все пережитое. Но утром я успокаивалась, так как понимала, что это уже все в прошлом. Я жива, и у меня опять есть семья: муж, дочь, мать мужа, к которой мы каждое лето приезжали в Одессу. Это было счастьем. Только боль за своих погибших родных и родственников постоянно щемила мое сердце. Мое счастливое состояние длилось до тех пор, пока в нашей стране, пережившей все ужасы фашизма, не образовались такие общества, как «Память», баркашовцы и подобные фашистские организации. Как это понять? Как понять, что они даже зарегистрированы государством? Неужели в семьях этих фашистов никто не пострадал во время войны? Страшней всего то, что ни правительство, ни прокуратура не только не приостанавливают эту

фашистскую деятельность, но суды их даже оправдывают… И опять мне стало страшно, но теперь уже за дочь и за внуков, и неважно, что у моих внуков отец русский.)

Утром начались новый день и новые страдания. У меня оставался один вариант — кладбище. Если бы мне повезло, то могла бы находиться в подвале дома бабы Вари. На Привоз я уже боялась ходить после того случая, когда меня схватили, как воровку. Но без Привоза мне не выжить — не имея даже марок, я могла бы как-то существовать. На рынке было принято, что хозяйка, прежде чем купить продукты, проходит по рядам и пробует их у продавцов, особенно в молочном корпусе. Поступая таким образом, я могла, не привлекая внимания, заглушить голод. Кроме того, на рынке можно было подобрать какие-либо остатки еды. Просить милостыню было выше моих сил. К тому же нельзя было привлекать к себе внимание. Но другого выхода не было, и я пошла на Привоз.

В молочный корпус я решила не ходить. К счастью, у меня еще были марки, и я купила два стакана семечек и направилась к рядам, где продавали горячий чай с гороховыми лепешками. Вдруг я услышала: «Облава, облава!» Как обычно, она началась внезапно. Появилось очень много румынских и немецких солдат. Базар был окружен. Солдаты прикладами сгоняли людей и избивали тех, кто пытался скрыться. Паника была ужасной. Началась проверка документов, и на сей раз я попала в их лапы. Всех задержанных отправили в полицию, где мне пришлось находиться до следующего дня. Утром меня и еще одного мальчика лет семи-восьми отправили опять на Слободку в гетто (тифозный изолятор).

Я уже описывала всю обстановку, которая царила в гетто на Слободке в помещении бывшего общежития института водников. Солдаты, как и в прошлый раз, сдали

нас охране. Один румын из охраны ушел, а через некоторое время он вернулся с бригадиром Изей и велел ему нас забрать. В помещения гетто румыны не заходили, так как боялись заразиться тифом. К счастью, на сей раз нас не били.

Вот так я снова оказалась в гетто. Когда Изя увидел меня, то он очень удивился: «Надо же, ты еще жива?!» Потом сказал: «Скоро будет очередной этап. Мы уже начали составлять списки». Это означало, что если не дать выкуп, то попадешь в список и будешь отправлен этапом. Со Слободки этапы отправлялись в Доманевские лагеря. При этом этапы по дороге частично расстреливали в Березовке, Мостовой, Лидиевке и других местах. Но все этапы, отправлявшиеся из тифозного изолятора (гетто), уничтожались полностью.

Я хочу объяснить, что из себя представляло одесское гетто (тифозный изолятор), которое существовало до июля 1942 г. Если на Украине и в Белоруссии, почти всюду, где проживали евреи, с самого начала оккупации выделялись определенные кварталы для гетто и евреи со всего города или села сгонялись туда, то в Одессе с первого дня оккупации (об этом я уже писала) евреев выгоняли на сборные пункты. Там отбирали паспорта, регистрировали, якобы для замены паспортов, и группами по 100 человек выводили из пункта. Чтобы люди спокойно шли, им говорили, что они пойдут домой, а фактически отравляли их на расстрел.

Потом было второе распоряжение, чтобы все евреи, независимо от возраста, явились на Дальник (я об этом тоже подробно писала). Те, кто попал на Дальник, были все расстреляны. Но так как вскоре скопилось очень много трупов, то расстрелы были временно прекращены и не попавшие на Дальник были отправлены по домам. Все евреи обязаны были носить на черном квадрате желтую шестиконечную звезду («звезду Давида»).

Носить нужно было спереди на груди и сзади на спине, чтобы все видели, что идет еврей. Евреи были вне закона, и поэтому каждый мог делать с ними, что хотел.

В конце декабря 1941 г. вышло третье и последнее распоряжение, и все оставшиеся евреи должны были переселиться на Слободку. На сборы дали два дня. Все выходы со Слободки охранялись румынскими солдатами, которые выпускали людей только по паспортам (у евреев паспорта уже были отобраны). На Слободке евреи размещались в частных домах до тех пор, пока их не выгоняли на этап. Делалось это планомерно и четко: каждый день выгоняли с одной или нескольких улиц, и на этих улицах хозяева уже не имели права никого впускать. Они были предупреждены, что если в каком-нибудь доме найдут хоть одного еврея, даже ребенка, то всю семью хозяев расстреляют. На протяжении всего этого времени, пока евреи ждали своей очереди, румынские солдаты врывались в дома и «развлекались» — насиловали, грабили, избивали. Все это происходило на глазах детей и стариков. В комнатах площадью 18 – 20 квадратных метров находилось не менее двадцати человек. Они сидели у стен на полу и за каждое место платили по 1 марке в сутки.

Таким образом, гетто, подобного тем, что были в других местах, в Одессе не было. В Одессе же на Слободке был тифозный изолятор, который строго охранялся, а так как в изоляторе находились только евреи, то его называли гетто. Изолятор был организован для того, чтобы эпидемия тифа не распространилась на Одессу и оккупационные войска. Поэтому больные евреи со Слободки при отправке этапа направлялись в тифозный изолятор. Больных лечили врачи-евреи из числа узников.

В тифозный изолятор отправляли и пойманных евреев-одиночек, еще оставшихся в Одессе и пытавших-

ся спастись. Так туда попала и я. Я постаралась объяснить, какой нацистский порядок для евреев был в Одессе.

Я продолжаю. Изя повел нас с мальчиком на третий этаж в комнату, где на полу сидело много здоровых и выздоравливающих людей. Он велел им потесниться, и мы сели у самых дверей. Никто нас ни о чем не спрашивал, так как люди уже привыкли к появлению новых узников и каждый был занят своими мыслями. В комнате было тихо, и если переговаривались, то шепотом. Пока нас гнали, мальчик молчал, но когда Изя ушел, то он заплакал. Я старалась его успокоить, но он продолжал плакать и через некоторое время заснул. Я тоже погрузилась в свои мысли. Я понимала, что это уже конец. Все страдания и муки, которые мне пришлось пережить за все месяцы оккупации, оказались напрасными. Ведь скоро будет очередной этап, и откупиться мне нечем. Но даже если бы этап не был отправлен в ближайшие дни, все равно мне не выжить, так как у меня в кармане было только немного семечек, а в гетто не кормили, так же, как во всех местах, где евреи находились под охраной.

Два раза в неделю, под присмотром бригадиров, узники поочередно, по нескольку человек, подходили к забору и через окошки в нем общались с местными жителями. Узники обменивали оставшиеся у них ценные вещи на готовую еду: вареную чечевицу, гороховые лепешки, пшенную кашу и иногда молоко в бутылках. Некоторым узникам их друзья и соседи приносили еду. Мне менять было нечего, а просить сообщить подругам или соседям я не решалась.

Поэтому, сидя на полу и обдумывая свое положение, я поняла, что в любом случае это конец и не дожить мне до весны, до Победы. Надежда стала меня покидать. Но только надежда давала силы бороться.

Кроме надежды у меня в жизни никого и ничего не осталось… Поэтому, чтобы снова воскресла надежда, мне опять нужно было бежать. Но риск был намного большим, чем при первом побеге, так как охране уже было известно о побегах из гетто. Но так как терять мне было нечего, то я приняла решение бежать.

Несмотря на то что бригадира Изю считали безжалостным и жестоким, он почему-то, когда я впервые попала в гетто, отнесся ко мне по-человечески. Поэтому я решила просить его помочь мне бежать.

На следующий день пришел Изя и объявил: «Те, кто хотят купить еду, пусть выйдут в коридор и построятся. Через полчаса я приду еще с одним бригадиром, и мы поведем вас к забору». Местные жители, приносившие еду на продажу, знали, в какие дни недели и часы допускают узников к забору. Поэтому они уже ждали нас, так как были очень заинтересованы в обмене еды на вещи. Они приносили очень дешевую еду в обмен на ценные вещи. Это было им намного выгодней, чем отдавать еду за марки. Когда евреев выгоняли из своих квартир, то они брали с собой самые ценные вещи. Узники, не задумываясь, отдавали свои вещи, чтобы хоть немного заглушить голод. Мы с мальчиком ничего, кроме семечек, не ели почти трое суток. Я уже привыкла по нескольку дней не есть. Но к забору для обмена допускали не ежедневно, и поэтому нужно было, во что бы то ни стало, сегодня купить еду за марки, так как менять мне было нечего.

Мы вышли в коридор и стали друг за другом. Когда пришли бригадиры, то я подошла к Изе и попросила его помочь купить еду за марки. Изя, как и другие бригадиры, пользовался своим положением и вымогал взятки у продавцов. От него зависело, допустить или не допустить покупателей-евреев к окошкам в заборе. Поэтому

продавцы заискивали перед ним и, конечно, не могли отказать ему в продаже еды за деньги. Изя взял у меня марки и велел мне остаться.

Я подумала, что мне даже повезло, так как этап будет отправлен из гетто не ранее, чем через пять-семь дней, а за это время я смогу отдохнуть и согреться. Ведь все эти дни и ночи я буду находиться в помещении, а не на улице и на кладбище. Я надеялась набраться сил и, если повезет, убежать, чтобы снова бороться, выжить и дождаться наших. Только бы удался побег… Я надеялась, что Изя мне поможет.

Пришел Изя и принес мне гороховые лепешки, пшенную кашу и даже картошку в мундире. Он сказал: «Это тебе хватит на несколько дней». Я немного успокоилась. Потом Изя спросил, указывая на мальчика: «Это твой брат?» Я рассказала, каким образом мы с мальчиком оказались в гетто. Я сказала, что мальчик сначала плакал, а теперь молчит и не отвечает на вопросы. Изя стал его расспрашивать: откуда он и почему один, где его мать? Мальчик ничего не ответил и опять заплакал… Я сказала Изе, что хочу с ним поговорить, и он ответил, что придет вечером, а затем ушел.

Я стала успокаивать мальчика и дала ему лепешку и картошку. Он постепенно успокоился и стал кушать. Я тоже поела и стала думать: «Что же дальше будет со мной? Только бы удалось бежать. Ведь если задержат, то застрелят на месте. Только бы удалось…» Больше ни о чем я не могла думать.

Мальчик поел и вдруг неожиданно спросил: «Как тебя зовут?» Я ответила: «Меня зовут Женя. А теперь скажи, как зовут тебя и почему ты один? Где твоя мама?» Он опять заплакал и стал рассказывать, что его зовут Миша, он живет в Москве, маму зовут Лизой, а папу Иваном Владимировичем. Я задавала ему вопросы, а он, всхлипывая,

рассказывал, что мама и папа у него врачи и работают в больнице. Он рассказывал: «Моя бабушка Дора приехала к нам в Москву из Одессы еще зимой в гости, а в мае, сразу после праздников, мы с бабушкой уехали в Одессу. Бабушка всегда на лето брала меня к себе в Одессу. Когда началась война, то мама прислала письмо и сообщила, что папа ушел воевать, а она тоже должна будет уехать из Москвы. Но сначала она приедет в Одессу, чтобы помочь нам эвакуироваться. Мама писала,что взять меня с собой она не сможет, но когда мы эвакуируемся, то она разыщет нас и приедет. Но она почему-то не приехала и больше не писала. Я так ее ждал… Бабушка заболела, у нее очень болело сердце. Доктор сказал моей тете, что бабушку нельзя трогать и она должна лежать. Бабушка жила с моей тетей, дядей и двоюродным братом. Дядя и мой брат ушли воевать, а мы с бабушкой и тетей остались. Мы не могли эвакуироваться, так как бабушка была очень больна. Возле нашего дома упала бомба, и было так страшно! Когда пришли немцы, то бабушка рассказала, что моя мама еврейка, а папа русский и поэтому немцы меня не тронут и я не должен бояться. Немцы выгнали из нашего дома всех евреев и погнали в тюрьму. Когда нас выгоняли, то тетя стала просить, чтобы бабушку и меня не трогали, так как бабушка больна, а у меня отец русский. Они мою тетю ударили и вытолкали нас во двор, а бабушку Дору оставили. Я спросил тетю, почему нас выгнали из дома, а тетю Валю (бабушкину соседку) не тронули. Тетя ответила мне, что тетя Валя русская, а выгоняют только евреев. Мне удалось убежать из тюрьмы, и когда я пришел домой, то там был дяденька и он сказал: «Ты зачем пришел, жиденок, здесь тебе делать нечего». Я ответил ему: «Ведь здесь живет моя бабушка и я пришел к ней». Этот дяденька жил в нашем доме, и он сказал, что бабушки нет, и вытолкал меня. Теперь я не

знаю, где мои мама, папа и бабушка Дора. Я все время жил в разбомбленном доме, рядом с нашим домом, ходил на базар, подбирал всякие кусочки и кушал, а еще просил еду».

Потом мальчик сказал мне: «Ты знаешь, когда меня поймали на базаре, то я очень испугался и думал, что они нас убьют». Я его спросила: «А ты не хочешь отсюда убежать?» «Нет, не хочу, мне здесь хорошо: здесь тепло, я не один и дают кушать», — ответил мальчик. Он видел, как Изя принес еду и, наверное, подумал, что нас здесь кормят. Я молчала… Бедный мальчик, он ведь не знал, что его скоро отправят этапом… Мальчик сказал мне: «В этом году я должен пойти в школу. Что же теперь будет? Знаешь, я уже умею читать и писать. Я учусь играть на пианино, и ко мне приходил учитель. Мне очень нравится играть, и я даже сам сочиняю песни: слова и музыку». Потом он сказал: «Давай будем все время вместе, а когда прогонят немцев, то мы с тобой поедем в Москву. У меня мама и папа очень хорошие». Я же не могла сказать ему, что собираюсь бежать. Только думала, что будет с ним — мне тоже было жалко его.

Вечером пришел Изя, и мы с ним вышли в коридор. Я сказала ему, что мне нужно бежать. Он ответил, что все понимает, но шансов быть не пойманной очень мало. Стало очень строго, но, конечно, если я останусь, то первым же этапом меня отправят. Ведь он здесь не один бригадир и поэтому ничего не сможет для меня сделать. Но есть еще несколько дней, и он подумает, как лучше сделать, чтобы помочь мне.

Я сказала еще Изе, что мне очень жалко этого мальчика. Я рассказала все о мальчике, что у него отец русский, у мальчика светлые волосы и он не похож на еврея. Может быть, если попросить коменданта, то он его отпустит? Изя мне ответил: «Я не зверь же. Мне тоже всех жалко. Я ведь в таком же положении, и последним

этапом меня тоже отправят. Правда, комендант ко мне хорошо относится и обещал, что постарается меня спасти. Но я ему не верю. Он так говорит, пока я ему приношу ценности, которыми евреи откупаются от этапа. Но я попробую поговорить с ним о мальчике. А ты пока отдыхай. Я к тебе еще приду. Конечно, ты должна бежать». Итак, я мысленно стала готовиться к побегу.

Побег — это большой риск: за побег расстрел на месте. Но могут прежде поиздеваться. В любом случае,что бы я ни делала, все равно буду уничтожена. Ведь фашисты считали, что еврейская нация должна быть полностью уничтожена, и поэтому они проводили планомерное уничтожение евреев, и не только в Советском Союзе. Оставалась одна надежда на быстрый разгром фашизма. Скоро наступит лето, а с ним придет конец войне и фашизму. Поэтому я снова решилась на побег — это хоть маленькая, но надежда. А так хотелось жить…

В ожидании Изи я сидела на полу и все шептала, как молитву: «Господи, помоги, помоги мне бежать». При этом вся моя недолгая жизнь проходила перед глазами: как я жила с родителями, как ходила в школу, как сдавала экзамены (ведь до войны экзамены нужно было сдавать каждый год), как с сестренкой мы ходили в музыкальную школу. Я вспоминала, какие были веселые праздники, дни рождения. Я родилась в ночь с 4 на 5 ноября, а праздновали 7 ноября, и поэтому мой день рождения был двойным праздником (одновременно отмечалась годовщина Октябрьской революции). У нас в Одессе была очень большая дружная семья: мама, папа, сестричка, дедушка, бабушка, тети, дяди, двоюродные сестры и братья. И в радости и в горе мы всегда были едины. Но все погибли: кто на фронте, а кто у немцев в оккупации. Из всех в живых осталась я одна.

Мне вспомнилось, как в мае 1940 г. меня положили в больницу на операцию по удалению гланд (больница находилась на Слободке). Оперировать нужно было срочно, и поэтому меня освободили от экзаменов. Мои подружки говорили: «Ты счастливая, тебе не придется сдавать экзамены». Операция оказалась довольно сложной, и во время операции мне внесли инфекцию в легкие. Поэтому через несколько дней меня перевели в терапевтическое отделение к известному в то время профессору Оксу. Несмотря на то что меня лечили всеми доступными в то время средствами, на внимательный уход врачей и медсестер (маме разрешили находиться постоянно у моей постели), мне становилось все хуже и хуже. Более двух месяцев врачи боролись за мою жизнь. Последний рентген легких показал, что надежды выжить нет. Меня отгородили ширмой от других больных… Но вдруг я попросила поесть и с того дня пошла на поправку. Когда меня выписывали, то мама горячо благодарила профессора за мое спасение и целовала ему руки. Профессор ответил: «Меня не нужно благодарить, так как я ничего не мог сделать. Благодарите Бога — это Он ее спас». После выздоровления меня привезли в институт, и профессор рассказывал студентам о моем случае.

Так я сидела на полу и вспоминала, как осталась жива, и снова мечтала остаться жить. За мою жизнь летом 1940 года в больнице на Слободке боролось много врачей, созывали консилиумы и делали все возможное, чтобы спасти меня, а сегодня, в феврале 1942 года, тоже на Слободке, но в тифозном изоляторе (гетто), ничто не может меня спасти, так как я подлежу обязательному уничтожению. Но почему? За что? Моя юная голова не могла понять это, мое юное сердце разрывалось на части…

Так я просидела сутки в раздумье, без сна, в надежде на побег, на спасение…

На следующий день зашел Изя и сказал, что мне повезло, так как завтра солдат поведут в баню. Поэтому охраны будет меньше и когда солдаты пойдут обедать, то я должна спуститься вниз и стоять в парадной у выхода. Я уже писала, что по обе стороны забора ходили патрули, но бывали какие-то минуты, когда можно было незаметно забраться на мусорный ящик, стоящий у забора, и перевалиться через забор. Забор просматривался с чердака, Изя будет находиться на чердаке и в нужный момент он свистнет, и тогда я должна перебежать двор, взобраться на мусорный ящик, подтянуться и перевалиться через забор. Если все пройдет удачно и я перевалюсь через забор, то могу либо разбиться при падении, либо там могут проходить люди. Если эти люди недоброжелательные, то они обязательно позовут патруль, но если эти люди добрые и милосердные, то могут даже проводить подальше от гетто и пожелать удачи.

На этот раз мне опять повезло: Изя свистнул, и, проделав все, я оказалась на улице. Когда упала, то ко мне подбежала девочка лет шести-семи и стала кричать: «Мама, мамочка, посмотри — из гетто прыгнула жидовка». (Все окрестные жители — дети и взрослые — знали, что здесь находятся заразные евреи — тифозный изолятор.) Молодая мать тут же подбежала к ребенку и стала приговаривать: «Тише, не кричи. Давай уйдем, ведь ты можешь заразиться». Потом она обратилась ко мне: «Давай, убирайся» и вслед сказала: «Расплодили здесь заразу…» Я стала быстро уходить от этого места, так как бежать было нельзя, чтобы не привлечь внимания.

Я опять на свободе! Но надолго ли? Куда же мне сейчас идти? Где я буду сегодня ночевать? Но все это потом, а в данную минуту я была счастлива: мне удалось бежать!

Я шла по городу, нервы были напряжены, но нужно было уйти как можно дальше от гетто. Было очень холодно,

и отмороженные ноги очень болели, но я не останавливалась — боялась, что обратят на меня внимание и выдадут.

Незаметно я оказалась у вокзала. На вокзале всегда было очень много народу и было тепло. Но там же всегда было много немецких и румынских патрулей. Все же я рискнула и вошла в вокзал, так как очень замерзла и устала. Выбрала укромное место и села. Возле меня сидела молодая женщина с ребенком на руках и дремала. Мне тоже очень хотелось спать, но я не имела права заснуть, так как нужно было быть всегда начеку — вдруг облава. Я сидела и думала: куда мне пойти ночевать (то есть спрятаться на время комендантского часа). Я мысленно перебирала все места, которые знала, но почему-то не решалась идти туда. Оставаться же на вокзале было невозможно, так как там периодически, особенно ночью, проверяли документы. А как хорошо было бы просидеть всю ночь на вокзале в тепле!

Комендантский час начинался с 18 часов. Посидев на вокзале почти до 17 часов, я пошла на кладбище и прошла через нашу лазейку. У склепа я все же надеялась встретить ребят. Но, к сожалению, никого не было, и я, обмотав себя тряпками и укрывшись соломой, незаметно уснула.

Когда я проснулась, то уже было светло. Если было бы тепло и была бы вода, то я бы никуда из склепа не выходила. Я очень устала, и было так холодно, что я просто окоченела. Я вышла и направилась в город. Хотя на Привоз было страшно идти, особенно после последней облавы, но я знала, что без Привоза мне не выжить. Там можно было выпить горячего чая, съесть лепешку и немного согреться.

На Привозе я выпила два стакана чая и решила не ходить в молочный корпус, а только купить семечки и постараться скорей уйти. Когда я нагнулась, чтобы высыпать семечки в карман, меня кто-то взял за плечо. Я так испугалась, что просыпала семечки мимо кармана.

Я подняла голову и не поверила своим глазам: передо мной стояла моя мама… Да, моя мама! Я как вкопанная смотрела на нее, а она на меня. Потом мы молча отошли в сторону. Я не могла перевести дыхания, схватила маму за руки и могла лишь прошептать: «Мама, мамочка, мамочка…» Мама ничего не говорила, только сказала: «Тебе холодно…», и слезы стояли у нее в глазах.

Мама стала быстро рассказывать, что она Адочку оставила на Слободке, а сама пробралась в город. Была дома, взяла кое-какие вещи и успела почти все продать. Мама показала валенки с галошами, которые она уже купила. Я их так отчетливо вижу, как будто сейчас на них смотрю. Это были стеганые валенки, не очень высокие, с глубокими галошами, как лодочки. Мама посмотрела на мои ноги и увидела, что на них старые страшные валенки с галошами, перевязанные бечевкой, которые мне подарил дедушка-нищий. Мама застонала и предложила обменяться. Конечно, я этого очень хотела, так как была прилично одета — на мне был новый полушубок, правда, немного великоват, но зато на мне было много одежды: юбки, кофты, свитера. (Этот новый полушубок папа получил на меховой фабрике вместо зарплаты, когда началась война.) Но ноги меня выдавали, и поэтому я очень хотела иметь такие валенки. Но я никогда бы в жизни не смогла у мамы в такую минуту забрать их. Я ей ответила, что не возьму их. Мама стала меня уговаривать: «Ведь ты в городе, а мне безразлично, я же на Слободке, и, наверное, скоро придет очередь и к нам», так как недалеко от их улицы уже стали выгонять.

Мама объяснила существующий порядок (я об этом уже писала): румыны выставляли оцепление и из всех домов улицы выгоняли евреев, чтобы отправить их этапом. На этой улице уже никто из евреев не имел права поселиться. Это был приказ для евреев и для хо-

зяев, у которых жили евреи. За невыполнение приказа хозяев домов (украинцев, русских и других) вешали на воротах или выгоняли вместе с евреями этапом. Поэтому почти не оставалось шансов на спасение. И все же, вопреки всему, были люди (русские, украинцы и другие), которые, рискуя жизнью, прятали евреев (о таких храбрых, порядочных, добрых людях я еще напишу).

Мама рассказала, что живет с Адочкой в частном доме, где хозяйка с каждого человека берет по 1 марке в сутки. Я спросила: «Как Адочка и с кем ты ее оставила?» Мама рассказала, что в этой комнате, где они живут, находятся еще более 15 человек. Комната пустая, и там стоит только маленький сундучок. Мама рассказала,что им еще повезло, так как комната большая, светлая и хозяйка добрая: она отапливает комнату и два раза в день дает кипяток. Я спросила маму: «Наверное, там очень шумно?» Но она ответила, что почти все молчат, а если говорят, то шепотом. Дети даже не капризничают — ведь к ним заходят румынские солдаты-патрули и, видно, дети очень напуганы. Но о поведении солдат мама мне не сказала, так как, видно, ей было стыдно мне рассказывать. Я опять спросила: «А как Адочка?» Мама заплакала и сказала, что Адочка сидит, почти ничего не кушает и молчит, а иногда качает головой и шепчет: «Только бы скорее, скорее».

Такая картина была на Слободке. Люди находились у чужих, платили деньги и ждали своей очереди… Мама сказала, что так как она купила валенки и встретила меня, то ей придется еще раз пойти домой, подняться на чердак и взять часть вещей, спрятанных там, чтобы продать их: нужны марки для уплаты хозяйке за места в комнате. Продукты же можно и на Слободке выменять на вещи.

Я предложила маме пойти с ней домой, так как ей на чердаке одной будет трудно, но она ответила, что вдвоем опасней: могут скорей заметить. Мама даже не спросила, где я нахожусь. Ведь после последнего приказа в декабре 1941 г., когда ни одного еврея не должно было оставаться в Одессе, а все находящиеся в данное время евреи должны были явиться на Слободку, мы с мамой не виделись и не знали ничего друг о друге. Мама с сестричкой тогда ушли на Слободку, а Леня, наш сосед, обещал маме спрятать и спасти меня (что из этого вышло, я подробно описала раньше). Поэтому мама была уверена, что я в безопасности. Она, наверное, думала, что Леня меня хорошо устроил — ведь он ручался, что все будет в порядке. Сначала я не хотела расстраивать маму и рассказывать, что только вчера убежала из гетто, прошлую ночь ночевала на кладбище, а сегодня не знаю, где ночевать. Но, постояв несколько минут возле мамы, я почувствовала, что уже не могу быть одна и нет у меня больше никаких сил бороться… Я вдруг с ужасом подумала, как я могла ночами находиться на кладбище, и только теперь, когда я стояла возле мамы, мне стало страшно…

Я решилась и сказала: «Мамочка, я пойду с тобой на Слободку». Она с ужасом посмотрела на меня: «Ты понимаешь, что говоришь? Ведь наши дни сочтены, а ты должна жить, обязательно жить».

Мама заплакала: «Боже мой! Если бы кто-нибудь взял еще Адочку и она осталась жить, моя крошка». Я не хотела ее расстраивать и поэтому не стала рассказывать, как все время без нее страдала. Я просто сказала: «Там, где Леня меня спрятал, — все провалилось. Соседи донесли, и мне пришлось бежать. Если бы я знала, где вы с Адочкой находитесь, то уже дав-

но бы к вам пришла». Мама ответила: «Туда ты всегда успеешь». Я больше не настаивала, видя, как ей горько.

Я рассказала, что Рахиль с детьми пока еще живут дома и им помогают соседи и баба Варя — дворник. Мама сказала, что купит еду и отнесет Рахили, а уж потом пойдет на Слободку. Я твердо решила пойти с мамой на Слободку. Когда я приняла это решение, мне почему-то стало тепло и спокойно, так как в этот момент я не могла понять — почему до сих пор скиталась одна. Ведь остались для нас считанные дни. Так почему же мне не быть вместе с мамой и сестричкой? Ведь Адочка еще в самом начале сказала: «Когда будут нас расстреливать, то пусть мама нас покрепче прижмет к себе». Нет, все же какая я счастливая. Я нашла маму и теперь до последней минуты с ней не расстанусь.

Мама дала мне оставшиеся 25 марок и сказала, что идет домой за вещами. Она добавила: «А ты, доченька, подумай — может быть, у тебя получится и ты останешься в городе?» Я попросила, и мама дала мне свой адрес. У нее была написана на лице такая безысходность, что мне стало ее жалко, и я сказала: «Да, мамочка, ты права — я сейчас постараюсь найти одну девочку, и, может быть, она поможет». Я спросила, когда она думает быть у Рахили. Мама ответила, что постарается к 3 часам прийти к ней. Я прижалась к матери, мне казалось, что так бы я осталась навсегда. Я предупредила, чтобы она была осторожна, когда будет входить во двор к тете Рахили, так как в одной из квартир, откуда выгнали евреев, поселился румын с семьей.

Мама пошла домой, прося Бога, чтобы все прошло благополучно, а я решила подойти к хозяйственным лавкам в надежде увидеть Наташу или кого-нибудь из ребят. Но, увы, никого не нашла. Потом пошла в корпус, где про-

давали горячий чай, супы, лепешки. Я съела суп, купила еще несколько лепешек и счастливая, что теперь не одна, так как нашла маму, вышла благополучно из Привоза.

К трем часам подошла к воротам дедушкиного и тетиного дома (ул. Свердлова, 64), где я неоднократно пряталась. У ворот стояла дворник баба Варя и, увидев меня, сказала: «Господи, спасибо тебе, что моя девочка еще жива». Потом она прошептала, что моя мама уже пришла, а она специально стоит и караулит, чтобы предупредить в случае опасности. Затем она добавила: «Ну, давай, иди к тете, я покараулю». Я знала, что Рахиль очень боится, когда я захожу к ней, но все же зашла. Та же картина: Рахиль лежит в постели, один ребенок прыгает в кроватке, а другой лежит больной. Когда я зашла, то она стала плакать и просить меня уйти. Мама ее успокоила, говоря, что мы скоро уйдем и она принесла ей продукты. Тетя же все твердила: «Не надо, не надо ничего, из-за вас меня выгонят, пожалейте детей». Я ее успокаивала и сказала, что не нужно бояться, так как баба Варя караулит. Мы покормили их и немножко прибрали в комнате.

Мама спросила меня, зачем я пришла. Я ответила, что девочку, которую искала, не нашла и поэтому пришла, чтобы пойти с ней на Слободку. Мама схватилась за голову и стала шептать: «Нет, нет, нет! Ты должна жить, ты будешь жить!» (видно, материнское сердце подсказывало ей, что я останусь жить). Потом мама успокоилась и тихо сказала: «Но ничего не поделаешь, пойдем». В этот миг мне показалось, что она стала такой маленькой и такой старенькой… А ей было всего 36 лет.

Оставалось два часа до комендантского часа, и мы по-одному, стараясь быть незамеченными, вышли со двора. Баба Варя спросила: «Куда же вы теперь пойде-

те?» Мама ответила, что на Слободку. Баба Варя, правда, не совсем уверенно, сказала: «Оставайтесь, переночуете в подвале». Мама поблагодарила и ответила, что на Слободке ее ждет Адочка. Баба Варя сказала: «Идите с Богом» и заплакала. Мы пошли вдвоем на Слободку.

Как только мы отошли от дома, как навстречу к нам идет моя фребеличка (фребеличками называли интеллигентных русских женщин-дворянок, которые набирали детей дошкольного возраста из двух-трех домов, находившихся в одном квартале, и целые дни проводили с ними у себя дома). Она жила недалеко от моря в шикарном старинном особняке, где даже был зимний сад. У нее были две большие комнаты. Дети в течение дня завтракали, учились, играли, обедали, спали, гуляли, а вечером она нас отводила домой. Фребеличку звали Марией Ивановной. Когда я стала ходить в школу, то она часто приходила к нам в гости и мои родители помогали ей и с уважением относились к Марии Ивановне.

Увидев нас, Мария Ивановна подошла и стала расспрашивать. Мама попросила ее взять меня к себе и спрятать. Мама все приговаривала: «Спасите, спасите мою доченьку».

Мама рассказала ей, что я знаю, у кого на хранении находятся наши вещи. Мама обещала написать записку, и вещи отдадут. Я у нее не буду на иждивении, а, наоборот, мы сможем вместе продержаться. Мама все шептала: «Спасите мою доченьку, ведь если она сейчас пойдет со мной, то через несколько дней нас погонят этапом, и это конец». Мария Ивановна ответила, что мама знает, как она нас любит и как она к нам привязана и обязательно бы спрятала, но у них стоят немцы, так как особняк находится у моря. (Немцы занимали порт, все побережье, вокзал и все основные пункты города. Румыны, в основном, исполняли черную

работу. Любой немецкий солдат мог ударить румынского офицера. В городе также находились венгерские жандармы, которые были еще страшней румын — настоящие звери.)

Мы стояли и разговаривали с Марией Ивановной, как вдруг, до сих пор не могу понять, как с неба свалилась, возле нас оказалась незнакомая девчонка и стала быстро, быстро, вся дрожа, говорить, обращаясь ко мне: «Пойдем, пойдем, пойдем со мной. Ну, давай же, надо быстрей, а то наступит комендантский час и мы не успеем дойти. Через полчаса он будет нас ждать. Он нас спасет, он обещал, я знаю, что он не обманет». Мы опешили и молчали — это было так неожиданно. Мама первая поняла и проговорила: «Иди, иди с ней — может быть, спасетесь». Я старалась прижаться к матери и сказала: «Нет, нет! Ведь мы решили, что я пойду с тобой. Я никуда от тебя не уйду». Мама меня оттолкнула и сказала девочке: «Бери ее, бегите, может, он не обманет и вас спасет». (Моя мама нас очень строго воспитывала, а тут ничего не спросила, к кому девочка меня поведет.) Я спросила девочку, откуда она меня знает. Девочка так быстро говорила, что ее трудно было понять: «Я тебя очень хорошо знаю, ведь мы учимся в одной школе. Ты выступала всегда на праздниках. Помнишь, как здорово ты читала стихи о Ленине и Ли Чане?» Она схватила меня за руку и потащила: «Идем! Ведь мы опоздаем. Нас спасут — я знаю, что он не обманет». Мама все настаивала: «Иди, иди, идите же! Ко мне ты еще успеешь прийти, адрес у тебя есть. Ты сможешь меня найти, попробуй…» Мама вытащила из сумки мое нарядное шелковое платье стального цвета, лакированные туфельки и отдала их Марии Ивановне, сказав: «Сохраните и если Женя останется жива — то отдадите ей». Мария Ивановна ответила, что обязательно сохранит. Мама обняла меня и сказала: «Девочки, вы обязательно останетесь жить».

Мы разошлись в разные стороны: Мария Ивановна пошла к себе домой, мама — на Слободку к сестричке ждать своей очереди, а моя соученица повела меня, но я не знала, куда. (Вся эта встреча с фребеличкой и соученицей продолжалась несколько минут.) Так я снова осталась одна — без мамы и сестрички.

Шли мы довольно долго. Уже стемнело, когда мы подошли к подвальному помещению. Девочка велела мне подождать у дерева, а сама через окно заглянула внутрь. Из подвала были слышны музыка и голоса людей. Это оказалось увеселительным заведением — кабачком.

Я оглянулась, но вокруг никого не было, и мне стало страшно. Казалось бы, за все время оккупации нужно было привыкнуть к страданиям, но, как видно, к этому привыкнуть невозможно. Моя соученица подошла и сказала, что нужно ждать — он не обманет. Рядом с кабачком росло много деревьев, а недалеко находился разбомбленный дом. Мне показалось, что он красный, вероятно, из красного кирпича. Соученица сказала, что он должен сюда подойти. Мы спрятались за деревьями, и она следила за всеми, кто входил в кабачок и выходил из него. Ждали долго, и мне показалось, что уже прошла целая вечность. В кабачок входили немцы и мужчины в штатской одежде. Я все спрашивала: «Не он? Не он?» Когда никого не было, то она выходила из укрытия и заглядывала в кабачок. А я ее все уговаривала спрятаться в этом разбитом доме: «Ты же видишь, уже, наверное, наступил комендантский час, а его все нет. Пойдем, переночуем в этом доме, а завтра будет видно». Она все твердила: «Он не обманет, он обязательно придет». Я ее не спрашивала— кто он и почему она так в нем уверена. Мы еще постояли в укрытии, и я ее спросила: «Как тебя зовут?» Она ответила: «Нина». Когда я назвала свое имя, то Нина сказала, что знает.

Наконец, из кабачка вышел человек в штатском, и Нина прошептала: «Вот, это он». Она тихо позвала: «Василий» и махнула рукой. Это был невысокий худощавый мужчина. Он подошел, увидел нас двоих и сказал, что сразу двух он не может взять. Потом обратился ко мне: «Сначала пойдешь ты». Я остолбенела и сказала: «А как же Нина? Она ведь меня привела, как же я могу?» Он ответил: «Не волнуйся за нее, я ее поведу на постоянное место жительства, так как для Нины уже приготовлены документы, а с тобой еще надо повозиться». Он обратился к Нине: «Если я сначала поведу тебя, то ее уже поздно будет вести. Ну, решайте! Мы и так уже опаздываем». Я стояла как вкопанная, не зная, что делать. Он обратился к Нине: «Не волнуйся, жди — я скоро за тобой приду». Василий схватил меня за руку и потащил за собой. Я еле за ним поспевала. Я шла, даже можно сказать, бежала, и все шептала: «Как же так? Ведь она меня привела, а теперь я иду с Вами, а Нина осталась одна. Я думала, что мы будем вместе». Василий ответил с раздражением: «Молчи, иначе нельзя, и так мы уже опоздали. Если я тебя сейчас туда не приведу, то ты останешься на улице, а уже комендантский час. Ты этого хочешь? За Нину можешь не волноваться — она уже устроена, у нее все в порядке. Я быстро отведу тебя и вернусь за ней». Потом он прибавил: «Давай быстрей».

Василий привел меня к дому на улице Жуковского (это я потом узнала). Номер дома я не помню, помню только высокие черные железные ворота. Ворота уже были закрыты. Он мне сказал: «Вот, видишь, придется звонить». Василий позвонил, и через некоторое время дворник открыла ворота и мы вошли. Дворник с ним поздоровалась, назвав его по имени. Он дал ей на чай и велел подождать, так как скоро вернется. Справа была

парадная, и мы поднялись на третий этаж. Прежде чем позвонить в квартиру, Василий сказал: «Когда мы зайдем, то ты молчи. Я сам все скажу». Я вся дрожала и только могла сказать: «Спасибо, я буду молчать». Он ответил: «Спасибо потом скажешь». Василий позвонил, и мне показалось, что звонок был условным — три раза коротких, затем интервал и еще один длинный звонок.

Открыла дверь женщина, и мы вошли в большой неосвещенный коридор. Женщина нас хорошо встретила и пригласила в комнату. Комната была большой, за столом сидели пожилая и молодая женщины — они ужинали. Было еще двое детей — мальчик лет девяти и девочка лет шести. Они сидели на диване, и мальчик читал девочке сказки. Василий, когда вошел, сказал женщине, которая открыла нам дверь, что он очень спешит, и ничего обо мне не сообщил. Женщина, улыбаясь, велела мне раздеться и показала на столик, где стоял кувшин с водой и тазик. А на вешалке висело полотенце. Она велела помыть руки и сесть за стол. Василий сказал, что завтра придет в 3 часа дня, попрощался и ушел.

Женщина, которая открыла нам дверь, была молодой, высокой и очень красивой. Она подала мне чай, а на тарелочке лежали несколько горячих картошек в мундире и кусочек хлеба. Это был царский ужин.

Женщина сказала, что ее зовут Анной, а я должна успокоиться и кушать. При этом она все время улыбалась. Все это было как во сне. Вся обстановка была такая спокойная, никто не удивился моему появлению, и даже дети продолжали спокойно сидеть, не обращая на меня никакого внимания, как будто так и должно быть. Потом Анна сказала детям, что пора идти спать, и они ушли во вторую, смежную комнату. Женщины, которые сидели за столом, тоже стали стелить постель на диване (по-

том я узнала, что это были мать и дочь — евреи). Анна сказала мне: «А тебе мы постелим на стульях». Я ответила, что могу и на полу лечь. Анна сказала: «Не нужно, ты уже, видно, на полу належалась». Мы соорудили постель из кресел и стульев. Анна, улыбаясь, сказала: «У тебя царское ложе, давай ложись и спи. Видно, что ты очень устала». Когда я легла и Анна укрыла меня одеялом, то я не сдержалась и тихо заплакала. Я ничего не понимала и никаких вопросов не задавала, и мне их не задавали. Но за все время оккупации, моих мучений и моих надежд я не была так удивлена, как сейчас. Ведь еще каких-то три-четыре часа назад я шла с мамой на Слободку, и вот я опять в квартире, вокруг меня незнакомые люди, которые приняли меня как родного человека. Что это? Как это понять? В такое страшное опасное время… Я лежала и никак не могла успокоиться. Анна подошла ко мне, погладила по голове и сказала: «Успокойся, будем надеяться, что все страдания для тебя позади».

В комнате был полумрак, и я начала засыпать, как вдруг услышала, что кто-то зашел. Раздались тихие голоса. Я лежала и боялась открыть глаза. Потом услышала, как садятся за стол. Я открыла глаза и увидела, что за столом сидели мужчина и женщина, а у женщины на руках был маленький ребенок. Анна накрывала на стол. Я лежала с закрытыми глазами и слышала, как люди ели и шепотом разговаривали. Поев, они опять ушли.

Я лежала и все думала — что же это за чудо? Я лежу, под головой подушка, укрыта одеялом, в теплой комнате, а прошлую ночь я была на кладбище в склепе. Сегодня я нашла маму и опять ее потеряла, может быть, навсегда… Что меня ждет завтра?

Господи, что же это такое? Я была пионеркой, как положено, в Бога не верила, но если что случалось, то всег-

да говорила «Господи» и даже не замечала, что вспоминаю Бога. Но мама нам с Адочкой всегда внушала, чтобы мы никогда никому не делали плохого, потому что придет возмездие. Эти мамины слова у меня остались в душе на всю жизнь. Мои родители не были очень набожными людьми, но религиозные праздники старались отмечать. В день памяти у нас дома собирались мама и все ее сестры и читали молитву. Я помню, что когда была совсем маленькой, то дедушка несколько раз брал меня в синагогу. Но теперь, лежа на этом прекрасном ложе, я почувствовала, что у меня в душе есть что-то такое большое, хорошее, теплое и только мое, и впервые я осознанно прошептала: «Господи, спасибо тебе за все». Незаметно я уснула.

Утром, когда проснулась, то сначала не могла понять, где я, и опять услышала приятный, ласковый, энергичный голос Анны: «Доброе утро! Ну как, отдохнула немножко?» Тогда я набралась храбрости и сказала: «Я ничего не понимаю, мне кажется, что я в раю». Анна ответила: «Успокойся, я сейчас ухожу, а когда приду — мы поговорим». Я встала, оделась, собрала постель, а молодая женщина, которая спала на диване, помогла расставить кресла и стулья на свои места. Потом женщина сказала: «Выпей чай и иди в другую комнату, а когда Анна придет, то позовет тебя». Она больше со мной ни о чем не говорила и ничего не спрашивала.

Когда я вошла во вторую комнату, то увидела детей. Девочку звали Олечкой, а мальчика, к сожалению, не помню, как звали. Олечка подбежала ко мне, дала книжку и сказала: «Почитай мне, пожалуйста». Я посадила Олечку на кушетку и стала читать ей сказки. Сердце у меня сжалось — я подумала, а что сейчас делает моя сестричка? Я ведь тоже часто читала ей сказки. Жива ли она еще? Я читала, а сама думала, что меня ждет и о чем собирается поговорить со мной Анна. Но пока я наслаждалась теплом и спокойстви-

ем, царившим в этом доме. А за окном на улице мороз и смерть… Вдруг Олечка спрыгнула с кушетки и побежала к письменному столу, открыла ящик и достала альбом. В это время вошел ее братик и стал на нее кричать: «Ты зачем без спроса берешь альбом?» Она заплакала и сказала: «Я хотела ей показать папу». Я стала ее успокаивать и сказала, что меня зовут Женей. Олечка все плакала,и тогда ее братик сказал: «Ну, хорошо, давай показывай». Затем он сказал мне: «Посмотри, но об этом никто не должен знать. Когда мой папа прогонит фашистов, то тогда все узнают, какой он герой. А сейчас мы должны молчать, и ты молчи». Он открыл альбом и стал показывать фотографии. На одной фотографии был мужчина в военной форме. Мальчик гордо сказал: «Видишь — это наш папа». Олечка, всхлипывая, сказала: «Наш папа на фронте, он летчик, он убьет немцев и приедет домой». Братик сказал: «Ша, тише». Они перелистывали альбом и все рассказывали о каждой фотографии. «Вот здесь мы с мамой и папой сфотографировались, когда папа уходил на фронт», — сказал мальчик. Так я узнала, что муж Анны — военный летчик и он сейчас на фронте.

Пришла Анна, через некоторое время она вошла к нам и сказала: «Дети, идите кушать», а потом обратилась ко мне: «Ну, вот теперь мы с тобой поговорим. Во-первых, как тебя зовут?»Я ей ответила. Потом она продолжила: «Так вот, Женечка, слушай меня внимательно. Женщины, которых ты видела, — это мать и дочь. Они тоже евреи. Мужчина и женщина с ребенком, которые заходили ужинать ночью, — также евреи. Мы их пока прячем в кладовке. Понимаешь? Нам повезло, что соседи эвакуировались и мы сейчас одни в квартире. Мы стараемся, по возможности, спасать людей. Василий и его друзья наладили связь с полицией. Нам уже удалось устроить несколько еврейских семей. Но за документы и регистрацию полицейское на-

чальство берет деньгами и ценными вещами. Пока готовят документы в полиции, Василий и его друзья находят пустые квартиры эвакуированных граждан или угнанных евреев, а когда документы готовы — Василий или кто-нибудь из его группы совместно с румынскими полицейскими на законном основании вселяют наших евреев. Так мы стараемся помочь и спасти людей. Ты все поняла?» Я сидела и молчала.

Анна продолжала: «Так вот, ты теперь пойди к своим, все расскажи и давайте действовать быстрей. Соберите все, что сможете, ценное, а если не хватит, то мы добавим от других. Если же вы наберете больше, чем нужно, то мы другим поможем. Так мы делаем, чтобы как можно больше спасти людей».

Пока Анна мне объясняла, я думала, что все это уже было. Я отдала ценное старинное золотое кольцо с бриллиантом и шкурку выдры матери мой соученицы (которые жили на улице Свердлова в Павловском здании). Документов не получила, а мне велели уйти, и все, что я дала, пропало. На что же мне сейчас рассчитывать, когда у меня ничего больше нет? Я поняла, что должна одеться и уйти опять на улицу. Это после такой доброжелательной обстановки, теплой квартиры, где меня приняли как родную и стараются спасти.

Мне бы очень хотелось, дорогие мои, объяснить вам свое состояние и что в этот момент я чувствовала. Но не смогу — это невозможно передать. У меня промелькнуло в голове — это возмездие. Ведь я сейчас должна быть не здесь, а с мамой и сестричкой, но я решила спастись одна. Анна еще что-то говорила, но я уже не слышала — меня затошнило, сильно закружилась голова, и, видимо, я потеряла сознание.

Когда я очнулась, то услышала: «Ну, давай, понюхай еще, дыши глубже». Это молодая женщина-еврейка, наклонившись, держала у носа пузырек с нашатырным спиртом.

Я хотела подняться, но Анна сказала: «Лежи, не вставай. Как же ты нас напугала». Я ответила: «Вы не волнуйтесь, я сейчас оденусь и уйду». Анна хлопнула в ладоши и сказала: «Господи, что надумала эта девчонка! Куда ты пойдешь в таком состоянии? Лежи и отдыхай. Ведь родители знают, куда ты пошла, и я думаю, что они не будут волноваться. Я надеюсь, что нам удастся и вы будете спасены, а пока отдыхай».

Анна ушла, и я одна осталась в комнате. Я лежала и думала, что это последние минуты моего блаженства. Боже, как мне хочется хоть еще денек побыть в этом доме. Но скоро зайдет Анна, и я должна буду уйти. Сквозь сон я услышала: «Женя, проснись, тебе надо идти». Я быстро встала и начала одеваться. Анна спросила: «Как ты себя чувствуешь? Ты сможешь идти?» Я вся дрожала, а Анна успокаивала и говорила: «Ведь чем раньше начнем, тем скорее вы все будете в безопасности». Сначала я не хотела ничего рассказывать, просто уйти, а потом подумала, что Анна будет ждать и волноваться. Тогда я рассказала ей все: что мама с сестричкой находятся на Слободке, что папу повесили и что я уже один раз отдала ценные вещи, но документы не сделали, а велели мне уйти. Рассказала, что мама тоже отдала ценные вещи соседу на хранение, а он не хочет ничего отдавать и велел, чтобы мама сама за ними пришла. Сейчас у меня, кроме нескольких марок, ничего нет. Я сказала: «Вы не волнуйтесь, спасибо Вам за все. Я сейчас уйду».

Анна взяла меня за плечи и сказала: «Постой, дай подумать. Ах ты, Боже, что же ты раньше не рассказала, ведь Василий вчера так быстро ушел и ничего не сказал. А я думала, что тебя родители прислали, потому что боялись сами прийти» (подросткам было менее опасно ходить по городу, не привлекая к себе внимания). Я сказала Анне, что Василий ничего не знает. Подумав, Анна спро-

сила: «Ты знаешь адрес, где мама находится?» Я ответила, что знаю. Тогда Анна сказала: «Так вот, ты останешься у нас, а завтра утром я пойду к твоей маме, мы с ней пойдем к вашему соседу, возьмем вещи, и тогда вы будете спасены. Главное, чтобы мама с сестричкой смогли продержаться на Слободке, а Василию я пока скажу, что ты уже ушла за вещами». И еще одну ночь я ночевала в раю.

На следующее утро Анна пошла к маме. Ее долго не было, а когда пришла, то улыбаясь рассказала, что маму и сестричку она нашла и все им рассказала. Они договорились, что Анна завтра пойдет за мамой, чтобы легче выйти из Слободки, и они вместе пойдут к соседу за вещами.

На следующий день, когда Анна пришла домой, то по ее лицу было видно, что ничего у них не получилось. Она мне рассказала,что сосед ничего не отдал, сказав, что приходили немцы и все у него забрали. Анна добавила: «Мне очень жаль твоих маму и сестричку, но я пока ничего не смогу для них сделать. Если бы мама могла продержаться, то мы бы смогли собрать средства для документов. Но для этого нужно время. А ты пока будешь у нас. Когда придет Василий, то я с ним поговорю и надеюсь, что он для тебя что-нибудь придумает».

Когда Анна рассказала все Василию, то тот сказал, что без денег документы для меня он не сумеет сделать, но если Анна сможет продержать меня какое-то время, то он постарается что-нибудь придумать. Анна ответила: «Как же я могу теперь выгнать Женечку на улицу? Ты постарайся ей помочь».

На следующий день пришел Василий и велел позвать еврейскую семью, которую Анна прятала в кладовке. Потом позвали меня. Василий, обращаясь к мужчине, сказал: «Вещей, которые вы дали, достаточно, чтобы получить документы и пройти регистрацию. Мы уже присмотрели

для вас квартиру, правда, небольшую, но это пока, а потом будет видно». Женщина прижала свою маленькую дочку к груди и сказала: «Господи, неужели я смогу тебя спасти». Василий продолжал: «Все это хорошо, но у меня есть одно условие: вот эту девочку вам нужно будет взять в свою семью как дочку. Она осталась одна, и средств на документы у нее нет. Поэтому, когда я вам сделаю документы, то в паспорт будут вписаны две дочери — старшая Женя и младшая Раечка. Если вы согласны на такие условия, то мы немедленно приступим к изготовлению документов».

Мои так называемые новые родители, услышав подобные условия, просто опешили. Это было так неожиданно для них. Они сидели и молчали. Анна же, наоборот, от такого решения Василия просто сияла. Она подошла ко мне, обняла и, обратившись к Василию, радостно сказала: «Какой же ты молодец, как ты здорово придумал. Я ведь очень переживала за Женечку, все думала, как же ее спасти?» Анна с такой радостью это говорила, а Василий ответил: «Я ведь только предложил, а решать им». Во время всего разговора я молчала, смотрела на этих людей и с трепетом ожидала, что они скажут.

В комнате стало тихо. Молчание нарушил мужчина: «Что тут решать? Вы рискуете своей жизнью, ты, Анна, рискуешь своими детьми, спасая людей. А если мы спасемся и сумеем спасти хоть одного человека, то это будет счастьем». Анна сказала: «Василий, видишь, а ты говоришь — решать». Василий подошел ко мне и сказал, что, так как я буду записана в паспорт, он сможет сделать мне потом метрику. Затем он прибавил: «А теперь познакомься со своей новой семьей». Мужчина подошел ко мне и сказал, что его зовут Борисом, жену Соней, а дочку Раечкой, но я должна буду звать их папой и мамой. Услышав эти слова, я должна была считать себя счастливой — ведь я заново ро-

дилась. Но почему-то у меня все сжалось внутри. Господи, что я делаю? Папу повесили, мама и сестричка на Слободке, и скоро их тоже не станет, а я буду иметь новых родителей? Анна как будто прочла мои мысли и сказала: «Ты почему молчишь? Не переживай, мы твоих маму и сестричку тоже спасем». Вот таким человеком была Анна! Несмотря на риск и страх, были такие люди. Я еще о них напишу.

Как уже говорила, у Анны я жила как в раю и меня окружали добрые, милосердные люди, а за окном были мороз и смерть. Так прошло два дня, и Анна сказала, что завтра в 3 часа придет Василий с готовыми документами.

С моей новой семьей я переехала на новую квартиру. Мы теперь граждане Одессы и полноправные жильцы этого дома. Русские паспорта были выданы в Одесской области, а зарегистрированы в Одессе, и был выдан ордер на квартиру — все на законном основании. Ведь во время оккупации это было нормальным явлением. Очень много людей из Одесской области переезжало жить в Одессу и занимало квартиры эвакуированных граждан или угнанных евреев. Дворники сообщали за деньги о свободных квартирах, а ордера люди получали в полиции за взятки. Румын подкупить было нетрудно. Если бы свои же земляки не выдавали евреев, то, конечно, какое-то число евреев могло бы уцелеть.

Дом, куда мы переехали, был маленьким, низеньким, с деревянными воротами. Он был расположен вблизи железнодорожной насыпи Слободки. Двор также был маленьким, южного образца. С правой стороны двора деревянная лестница вела на второй этаж. Там, на маленькой площадке, располагались две квартиры, из которых левая была нашей. В квартире был маленький коридорчик, служивший кухней, и две маленькие комнатки. Я спала во второй комнатке с ребенком (названой сестричкой).

Трудно объяснить, какое у меня было состояние. Я живу в квартире, сплю на кровати, а главное — я не должна бояться, ведь у нас документы, выданные полицией. Я свободно выхожу и здороваюсь с соседями и никак не могу привыкнуть, что я свободна и не нужно мне больше бояться и прятаться.

Все же радости у меня не было, так как я все время думала о матери и сестричке и сердце обливалось кровью. Я так скучала и так хотела быть с ними. Ах, если бы они смогли продержаться хоть немного времени — ведь Анна обещала помочь.

Я была в новой семье нянькой и исполняла все поручения. На следующий день после переезда пришли Анна с мамой и принесли мне одеяло, пододеяльники, простыни и другие мои вещи. Мама благодарила Анну и много очень хороших слов ей сказала. Мне мама сказала: «Если ты останешься жить, то не забывай, что обязана Анне жизнью». Мама обратилась к Анне: «Уж не оставляйте ее, ведь наши скоро придут, помогите ей встать на ноги. Бог Вас вознаградит, а я до последней минуты жизни буду молиться за Вас и Вашу семью». Анна стала успокаивать и сказала маме: «Вам нужно только продержаться, а мы постараемся собрать ценности и сделать вам документы».

Мама подошла ко мне, прижала к себе и сказала: «Ты будешь жить. Ты должна жить». Я прижалась к матери и все шептала: «Мамочка, мамочка, постарайтесь продержаться. Я так люблю вас — тебя и Адочку». А мама все говорила: «Живи, живи…» Мне казалось, что я прощаюсь с мамой навсегда… Анна с мамой ушли, а я осталась в новой семье и прожила с ней еще несколько дней.

Однажды днем, еще было светло, меня послали набрать снег (воды не было). Я это делала по нескольку раз

в день. Вышла из ворот, пошла налево и немного вдали от дома стала собирать снег. Вдруг за спиной услышала топот сапог и румынскую речь. Я оглянулась и увидела, что во двор бегут румыны. Несмотря на то что у нас были документы, а Василий заверил, что мы можем спокойно на законном основании жить в этом доме, все равно в душе был страх. Поэтому я решила не идти домой, пока солдаты не выйдут со двора. У меня было предчувствие, что они пришли за нами. Я отошла подальше от дома и стала набирать снег, нагнувшись так, чтобы меня не узнали (ведь не я одна собирала снег). Вдруг услышала крики: «Ура! Жидов поймали, жидов поймали, ура!» Краем глаза я увидела, как из ворот вытолкнули моих новых родителей. Они были раздеты, им даже не дали надеть пальто и под конвоем их увели.

Опять жизнь кончилась… Я бросила ведро и ковшик и, конечно, не заходя домой, тихонько, не оглядываясь, ушла подальше от этого дома. Помочь моим новым родителям все равно я бы не смогла. Я шла, шла, не оглядываясь. Опять я на улице… Но на сей раз я была еще в худшем положении, так как все мои вещи были оставлены в этой квартире, и, главное, когда меня послали набрать снег, то я ведь вышла из квартиры ненадолго и поэтому на мне не были надеты все теплые вещи.

Был сильный мороз. Я пришла в город и решила, пока не наступил комендантский час,добраться до Анны. Я знала, что Анна не оставит меня в беде и, конечно, найдет способ забрать из квартиры мои теплые вещи. Когда я позвонила, то дверь открыла Анна и быстро проговорила: «Уходи, уходи скорей. Только что у нас в квартире были румынские солдаты. Мать и дочь находились в кладовке, но они успели убежать на чердак через черный ход. Господи, что дальше будет? А ты уходи, уходи». (Во многих домах дореволюционной постройки в каждую квар-

тиру вел не только парадный ход для хозяев и их гостей, но и черный ход для прислуги.) Анна захлопнула дверь. Я быстро ушла, боясь причинить Анне и детям горе. Я не успела ей сказать, что и у нас тоже были румыны.

Близился комендантский час, и я направилась к дому, где раньше жил дедушка. Ворота были еще открыты, я пробралась в подвал и переночевала там. Я не знала, жива ли еще Рахиль. Эта ночь для меня была уже невыносимой, так я была плохо одета: юбка, свитерок и полушубок.

Рано утром решила пойти к маме на Слободку, пока маму не угнали. Если Анна не смогла помочь, то все — больше надежды нет. Как бы ни старалась Анна, этот добрый, гуманный человек, спасать людей, вряд ли у нее что-либо получится. Ведь сколько было вредных, озлобленных людей, которые с радостью выдавали и будут выдавать евреев. Сколько уже раз меня выдавали…

Но утром я не смогла выйти из подвала, так как во дворе слышались голоса. К тому же я не в силах была подняться — очень болели голова и ноги. Наконец, я собрала все силы и вышла. На этот раз во дворе никого не было, и я направилась к маме.

Когда проходила под железнодорожной насыпью, то никто меня не задержал (потом я узнала, что солдаты впускали всех на Слободку, но при выходе проверяли пропуска и документы). Я нашла деревянный дом, где жила мама. Единственное, что меня волновало,— чтобы мама и Адочка были еще на месте. Я вошла через калитку в маленький дворик, где справа находился дом. Когда я вошла в сени, то увидела женщину, у которой спросила, где живут евреи. Она ответила, что сегодня на рассвете всех евреев выгнали, осталась только одна женщина с ребенком: ребенок заболел, у него высокая температура, и поэтому их

временно оставили. Хозяйка сказала: «Посмотри, может быть, это твои?»

Я вошла и увидела маму и сестричку. Комната была большой и совершенно пустой — стоял только небольшой сундучок и не было ни одного стула. На сундучке сидела сестричка, ножки вытянуты, а ручки лежали на коленях, головка была завязана платком, щеки были пунцово-красными, и она вся горела. Мама стояла возле нее. Когда мама увидела меня, то бросилась и шепотом стала ругать: «Зачем пришла, ведь хозяйка может тебя выдать. Ей разрешили оставить только нас двоих. Если тебя увидят, то хозяйку могут расстрелять». Мама дала мне марки и стала выталкивать из комнаты. Я сказала: «Мамочка, мне больше некуда идти. Нас выдали, румыны пришли и выгнали всю семью из квартиры, а мне удалось спастись. Но беда в том, что все мои теплые вещи остались в квартире и долго ходить по улицам я не смогу — очень холодно и ночевать мне негде». Мама с волнением спросила: «А что с Анной?» Я рассказала, что произошло у Анны. Мама сказала, что так как евреев в квартиру Анны не было, то будем надеяться, что Анну не тронут.

Я продолжала говорить: «Ну что, мамочка, поделаешь? Такая наша судьба. Видно, нам суждено быть вместе до конца». Мама с ужасом смотрела на меня, а я продолжала: «Ты же видишь, что сколько бы я ни пыталась спастись, но снова оказываюсь на улице и нет у меня больше никаких сил бороться». Мама меня не слушала и только твердила: «Уходи, уходи».

Мама стала быстро рассказывать, что рано утром вошла хозяйка и сказала, что из всех домов нашей улицы выгоняют евреев. Через несколько минут в комнату ворвались румыны и прикладами стали выгонять на улицу всех евреев, не считаясь с тем, что среди них было много

стариков и детей, хотя на улице был сильный мороз. Мама сказала: «Адочка больна, вся горит и поэтому я стала просить пожилого румынского солдата, чтобы нас пока не выгоняли, так как ребенок очень болен». Мама отдала ему обручальное кольцо. Солдат несколько раз ударил ее прикладом по руке, когда она протягивала ему кольцо. Рука была красно-синей и вся опухшая. Сестричка сидела на сундучке, раскачивалась и все шептала: «Мамочка, нужно было идти со всеми. Скорей бы, скорей, я больше не могу».

Весь этот разговор длился несколько минут. Я подошла к сестричке, обняла ее, поцеловала и сказала: «Адочка, я буду с вами и никуда от вас не уйду». Мама ответила: «Нет, нет, ты не останешься. Ты меня слышишь?»Она взяла меня за плечи и стала трясти: «Ты меня слышишь? Какая судьба? Ты должна жить, жить. Уходи, уходи». Шепотом, чтобы Адочка не слышала, она добавила: «Доченька, родная, если ты уйдешь, то у меня будет маленькая надежда, что хоть ты останешься жить. Мне будет легче все это перенести». Мама открыла дверь и вытолкнула меня из комнаты. Когда я уходила, то она громко в сенях сказала (чтобы хозяйка услышала): «Передай маме спасибо за помощь». Потом, видно, она обратилась к хозяйке:«Это соседская девочка принесла еду».

Я ушла. Это было днем, был сильный мороз и ярко светило солнце. Это был последний раз, когда я была с мамой и сестричкой Адочкой. Если бы нам до войны сказали, что мы сможем расстаться, вот так, навсегда… Больше я их никогда не видела, лишь только в мыслях и во сне…

Я вышла на улицу. Мне казалось, что так плохо, как сейчас, никогда не было. Я стояла и не знала, что мне делать. На Слободке царила атмосфера обреченности, царила смерть. В самые критические минуты жизни в оккупации я всегда думала: почему я не с мамой и где моя мама?

Сейчас я нашла маму, я рядом с ней… и мне страшно. Мне хотелось кричать: «Мама, мамочка, мне страшно, не гони меня. Ведь настали последние минуты». Я опять одна.

С первого дня прихода немцев каждая минута, каждая секунда могла быть последней. Но все время была в душе какая-то надежда. Вот ходишь по оккупированному городу, а вокруг тебя люди: они живут, куда-то идут, кто на работу, кто в магазины, на Привоз, дети ходят в школу, моя подруга Аня Долгова (русская) училась в медицинском училище. Город живет, и все заняты своими делами, и жизнь продолжается.

Можно было наблюдать и такую картину (но это было позже, где-то с апреля месяца): по мостовой (проезжей части улицы) идет процессия. Впереди священник: идут святить какое-нибудь заведение, например, кафе, ресторан, магазин, лавочку. Так это было принято. Или идет большая свадебная процессия по мостовой — направляются в церковь венчаться: румынский офицер женится на какой-нибудь нашей девчонке, русской или украинке — она в шикарном свадебном наряде. Потом, через некоторое время, когда офицера отправляют на передовую, он перед отправкой отвозит сам или поручает своему денщику отвезти ее к себе домой, в Румынию. Молодую жену привозят, а там уже есть жена и дети. Жене говорят, что привезли прислугу. Вот так некоторые наши девушки выходили замуж.

На фоне этой нормальной жизни мне приходится ходить по городу и бояться всех этих людей. Ведь не знаешь, кто тебя выдаст, а кто поможет. Все это только за то, что ты родилась еврейкой.

Все же где-то теплилась надежда: только бы выжить, дожить до тепла, а там придут наши. Страх и надежда… На Слободке же я почувствовала: это все, я уже в загоне на бойне. Уже не нужно бояться, что меня могут

поймать, и прятаться не нужно, так как я уже поймана. Все же рефлекс самосохранения сработал — очень хотелось жить. И хотя знала, что мне в городе уже некуда идти, в голове теперь была только одна мысль: убежать со Слободки и спастись. Ведь я шла на Слободку к маме, и если бы она меня не прогнала, то я, конечно, с ними бы осталась и с ними же пошла бы на смерть. Куда их погнали? Где они потом были? Как они погибли? Я не знаю.

Мои родные были молодыми — папе было 40 лет, маме 36 лет, а Адочке 9 лет, когда они погибли. Нет у меня даже могилы моих дорогих родных, чтобы принести им цветы, поговорить с ними, рассказать о всех своих проблемах, посоветоваться, сказать мамочке, что ее материнское чутье не подвело. Я жива и не одинока, у вас есть зять Илья и внучка Адочка. Ваша внучка вышла замуж и мужем Леней она довольна. Дорогие мои, у вас есть два правнука Денис и Сашенька, и все они хорошие и очень красивые. Родные мои, мы им дали имена в память о вас. Мои дорогие, я не одинока — у меня опять есть семья, которая вас помнит. Дорогие, молитесь за нас. Вечный вам покой.

В Одессе погибли почти все евреи. По официальным данным, погибло, вместе с беженцами из Бессарабии, 200100 человек. (Когда мы пришли в город после освобождения из лагерей, то были развешаны такие плакаты.) Осталось в живых около 300 человек. Но погибло, конечно, намного больше. Я прилагаю карту, где показаны лагеря смерти и гетто на территории оккупационной зоны «Транснистрия», а также маршруты этапов. На этой карте указано, что в Одессе еврейское население было уничтожено полностью.

Продолжу свои воспоминания. После того как мама меня прогнала, меня охватили страх и полная безысходность. Но постояв минуту у дома, я поняла, что нужно

бежать. В тот момент мне показалось, что если я убегу со Слободки, то спасусь. Я направилась в город. Когда я прошла два или три квартала, то издали увидела, что гонят этап евреев. Я свернула на другую улицу, чтобы не попасться, но и по этой улице тоже гнали евреев. Я оказалась в западне — спрятаться было негде, а калитки домов были закрыты. В голове мелькнуло: «Боже, наконец-то я рядом с мамой и сестричкой, а погонят нас отдельно».

Улицы там коротенькие, и меня заметил конвоир. Он подбежал и прикладом стал вталкивать меня в колонну евреев. Я стала ему говорить и показывать жестами, что живу здесь, а мама послала меня купить пыни (хлеб). Я все время повторяла, что я украинка. Но он меня не слушал и стал бить прикладом, приговаривая: «Ай, ай, репеде, репеде» («Быстрей, быстрей»). Так я оказалась в колонне. Мы прошли несколько улиц, и нас остановили возле длинного забора. Я была в отчаянии: ведь столько времени бороться, мучиться, быть рядом с мамой и после всего идти этапом одной. Я решила не сдаваться, так как терять мне было нечего.

Я вынула из кармана «документ» — бланк школьной справки со штампом и печатью, на котором была написана украинская фамилия «Бойко Валентина Васильевна» и указано, что она является ученицей 101-й школы г. Одессы и справка выдана для представления в музыкальную школу. Документ мне написала подруга Фира, когда я пряталась у нее. Я его еще ни разу не использовала. Я показала его румыну и попросила отпустить, так как я только что вышла из лакаса (дома) купить хлеб. Он внимательно посмотрел «документ» и показал его другому румыну. Они поговорили, а потом первый румын велел мне идти и стал подталкивать прикладом. У него было очень злое лицо, и мне

показалось, что он сейчас отведет меня и пристрелит. Я шла и шептала: «Скорей бы, только скорей».

Солдат привел меня к калитке и втолкнул во двор. Я поняла, что это школа. У входа в школу стояли патрули. Солдат что-то сказал, и нас пропустили. Он подвел меня к дверям класса и велел, чтобы я ждала, а сам вошел. Я осталась одна, но бежать было невозможно. Затем он вышел и велел мне войти. В пустом классе стоял только письменный стол, а за ним сидел офицер и отдельными группами стояли румынские солдаты. Когда меня подвели к столу, то я увидела, что в руках у офицера был мой «документ». Офицер спросил: «Что это за документ?» Я ответила: «Это метрика» и добавила: «Я украинка, а мама послала меня купить хлеб». Я не знаю, понял ли офицер, но он еще долго рассматривал мой «документ», а потом в упор стал смотреть на меня, и мне показалось, что он улыбнулся. В этот момент я почему-то почувствовала надежду на спасение и расплакалась. Он еще раз спросил что-то у солдата, а тот кивнул головой. По-видимому, он подтвердил, что взял меня со стороны. Офицер отдал мне «документ», сказал что-то солдату, и тот повел меня. Когда мы вышли на улицу, солдат довел меня до конца этапа и отпустил. Я поблагодарила его и ушла. Ноги отказывались идти. Я шла, и мне казалось, что за мной наблюдают — пойду ли я домой.

Чтобы выйти со Слободки, нужно было пересечь высокую железнодорожную насыпь, в которой имелись проходы. Эти проходы охранялись румынскими солдатами. При выходе они проверяли документы и пропуска, которые были выданы жителям Слободки. Но об этом я не знала. Однако, к счастью, румын можно было подкупить. Когда я подошла к проходу, то румыны спросили пропуск, и я им опять показала мой «документ». Но он не сработал, и меня не выпустили. Тогда я прошла вдоль насыпи и попробовала

пройти через следующий проход, но меня опять не пустили. Только в четвертом проходе, когда я показала «документ», солдат сказал: «Этот документ не годится. Марки, марки есть?» Я дала ему несколько марок, и меня пропустили.

Так я снова оказалась на свободе. Когда вышла со Слободки и пошла в город, то было уже около 2 часов дня. Я шла по городу — худенькая, затравленная, как зверек, девочка, старавшаяся быть незаметной, и все думала: «Что это было со мной? Ведь я была на Слободке, находилась в этапе, который направляли на смерть, а убежать из этапа было невозможно, но я жива и снова хожу по городу. Невероятно, но меня освободил румынский офицер». Я не могла себе представить: неужели он поверил и признал«документ»? Как это могло случиться? Снова почувствовала, как и в ту ночь, когда меня привел Василий к Анне, что я не одна, что надо мной есть что-то необъятное, доброе, живое, которое постоянно со мной.

Несмотря на то что всю мою школьную жизнь мне внушали, что Бога нет, я еще раз поверила маме и сама душой почувствовала, что это все от Бога и что Бог со мной. Я прошептала: «Спасибо тебе, Господи».

Я снова хожу по городу, еле передвигая ноги, мне очень холодно, близится комендантский час, и я не знаю: что делать дальше? Где мне согреться и где буду ночью? Мысли притупились, я зашла в магазин и немного согрелась, но долго находиться в магазине было нельзя — заметят. Снова хожу по городу, а в окнах горит свет, и я вижу тени за занавесками — там жизнь и люди после трудового дня отдыхают. У каждого свои личные дела, в квартирах тепло, сейчас, наверное, сядут ужинать, скоро лягут в теплую постель. Какие они счастливые! Как мне хочется согреться!

Так я шла по улицам и все смотрела на окна. Уже стемнело, и людей на улицах почти не было. Когда я проходила

мимо полуподвальной квартиры одного дома, то услышала музыку, румынскую речь и хохот. Форточка была открыта, я заглянула и увидела румынских офицеров, танцующих с нашими девушками. Они обнимаются с врагами, наши девчонки, а их отцы и братья, может быть, проливают сейчас кровь на фронте. Завтра таких же девчонок, но еврейской национальности, может быть, даже их подружек, будут уничтожать эти же офицеры! Я чуть не крикнула: «Что же вы делаете?» В эту минуту я как будто очнулась ото сна и поняла, что ведь уже темно и наступил комендантский час. Меня охватил ужас. Что же мне делать? Где мне спрятаться? Оглянувшись, я поняла, что нахожусь на углу Малой Арнаутской улицы и улицы Свердлова. Это было недалеко от дедушкиного дома. Я бросилась туда в надежде на то, что ворота еще не закрыты. Но, увы, ворота баба Варя уже успела закрыть, и я оказалась во время комендантского часа на улице. Позвонить в ворота я не посмела — могла ведь погубить бабу Варю. Я дошла до угла и повернула опять на Малую Арнаутскую улицу, пошла по ней, а вокруг ни одного человека, только в окнах домов горел свет. Каждую минуту мог появиться немецкий или румынский патруль. Так как у меня не было ночного пропуска, то могли застрелить на месте. Но пусть лучше так, но только бы не глумились. Я продолжала идти и дошла до улицы Ленина. Я была в отчаянии, ведь сама виновата — как могла забыться? На протяжении всего времени моих скитаний я ни разу не забывала о наступлении комендантского часа и всегда была начеку. Сегодня я впервые оказалась на улице во время комендантского часа, и спрятаться было негде.

Я находилась на углу улиц Малой Арнаутской и Ленина, в следующем квартале была улица Чижикова, а за ней находился вокзал. Может быть, пойти на вокзал? Это было бы чудесно. Несмотря на то что на вокзале

всегда было много народа, можно было найти укромное местечко, сесть в тепле и даже заснуть. Это был бы рай земной. Но, увы, только не для таких, как я. Ведь ночью на вокзале много патрулей и часто проверяют документы. И так как с декабря 1941 г. евреи уже не имели права находиться в Одессе, то когда их ловили, очень жестоко с ними расправлялись. Все же я шла по направлению к вокзалу. Вдруг я увидела на расстоянии шести-восьми метров деревянную будку, которая стояла на газоне на краю тротуара. Я решила спрятаться в ней. Эти будки стояли по всему городу, и в них летом работали сапожники, а зимой они стояли закрытыми. Я знала, что войти в эту будку и остаться до утра при тридцати-сорокаградусном морозе означало замерзнуть и до лета меня никто не найдет. Но сейчас это уже не важно. Главное было не попасться в руки немецким или румынским патрулям. И я направилась к будке.

Это было единственное, что я могла придумать. Но мое несчастье заключалось еще в том, что я была плохо одета. Ведь все вещи, которые я носила, остались в квартире, так как я вышла только набрать снег, а вернуться, как уже писала, было невозможно… Мне осталось метров четыре-пять дойти до будки. Но вдруг я услышала хруст снега: кто-то быстро шел за мной. Я не знала, что делать, объяснить мое состояние было невозможно… Не оборачиваясь, я поняла: «Все... не успела, это патруль». Я уже ни о чем и думать не могла, мне было очень страшно… страшно было замерзнуть, но еще страшней попасть к ним в звериные лапы…

Я прибавила шаг, но ноги еле двигались. Я услышала, что меня догоняют. Рядом со мной оказался мужчина. Он был один и схватил меня за плечо. Ноги мои подкосились, и я упала, как сквозь сон слышала: что-то говорят, а потом почувствовала, как горит мое лицо. Видно, на какой-то

миг я потеряла сознание. Я открыла глаза. Мужчина стоял надо мной и снегом тер мои щеки. Я услышала: «Ну, как, очнулась? Вставай» — и он стал меня поднимать. Сначала я не понимала, что со мной и где я. Почему я на улице ночью, а не дома, как я здесь очутилась? Ведь мама и папа будут волноваться и меня искать. Но я только спросила: «Кто вы? Где я и почему я одна?» Он стоял и смотрел на меня, потом сказал: «Что это ты? Разве так можно? Как ты оказалась одна на улице? Ведь сейчас уже комендантский час». Затем мужчина махнул рукой и сказал: «Да ладно, потом все расскажешь, а сейчас нужно идти, оставаться здесь нельзя». Я стояла и молчала, постепенно ко мне возвращалось сознание. А он продолжал: «Ну что ты стоишь? Идем». Он схватил меня крепко за руку и стал тащить за собой. Я еле шла, он не отпускал мою руку. Сознание стало ясным. Страх охватил меня. Несмотря на то что он был один и в гражданской одежде, я была уверена, что он все понял и ведет меня в комендатуру. Тут, как всегда, сработал инстинкт самосохранения. Нужно попробовать… Нельзя так просто сдаваться. Я спросила его: «Куда мы идем?» Был сильный мороз, ветер дул в лицо. Он поднял мой воротник и сказал: «Потерпи, мы скоро придем». Но я ему не верила и была уверена, что он сотрудник немецкой комендатуры. Так как он ходит свободно во время комендантского часа, это же явное доказательство… Да, да, да. Он все понял и ведет меня в комендатуру. Я представила всю картину моих мучений, когда он приведет меня. Нет, только не это! Лучше замерзнуть! Я решила: если он меня отпустит, то я снова вернусь в сапожную будку. Я твердо решила убедить его отпустить меня. На всякий случай у меня была приготовлена версия… Я сказала ему, что живу на Большом Фонтане, приехала к тете, но ее не оказалось дома. Пока ждала ее, наступил комендантский

час. Он меня спросил: «Куда ты направлялась?» Я ответила, что решила пойти на вокзал. «А ты знаешь, что на вокзале беспрерывно проверяют документы и билет на поезд? У кого их нет, того забирают в полицию». Я ответила, что пусть забирают, ведь я не преступница и у меня все в порядке. Он тогда сказал: «Ведь тебя спросят, куда ты едешь. Почему ты одна? Ведь туда ворота широкие. Выйти не так просто». Я лишний раз убедилась, что он понял, кто я…

Я сказала: «Домой к вам я не пойду, ведь я вас не знаю. Вы не волнуйтесь, идите домой. Ведь комендантский час, и для вас тоже опасно, а я пойду на вокзал». Вдруг он произнес быстро с тревогой: «Немцы, идем, или я ухожу один». Я подумала, что он нарочно так говорит, чтобы я с ним пошла. Но в ту же минуту к нам подошли трое немцев с повязками. Они что-то все хором говорили, а мне слышался лай собак.

Мой попутчик вынул из кармана документ и дал им. Они проверили и вернули, а потом показали на меня. Он сказал: «Она со мной». Немцы отошли. Он обратился ко мне: «Ты идешь? С ними шутки плохи. Если хочешь, то оставайся с ними. Я ухожу». Он пошел, я поплелась за ним. Как мне и ни было страшно идти с ним, но оставаться с немцами… К тому же у меня на душе потеплело… Ведь если бы он хотел, то сдал бы меня немцам.

Когда мы немного отошли, он взял меня за руку покрепче, поднял мой воротник и сказал: «Ну и орешек! Держись за меня, мы скоро придем домой». Мы направились через Куликовое поле на Пироговскую улицу. Ноги меня не слушались, а он быстро шел и буквально тащил меня за собой. Морозный, сильный ветер бил в лицо. Воротник моего полушубка все время опускался, и он все мне его поправлял и говорил: «Закутайся, ведь такой сильный мороз». Только сейчас я почувствовала, как мне холодно. Это было в феврале. Ведь февраль по-украински

«лютый». В этом месяце всегда сильные метели, и особенно они свирепствовали в 1942 году. Еще никогда в Одессе не было таких морозов, как зимой 1942 года. Морозы достигали 30 – 42 градусов, и притом море.

Мы подошли к дому № 3 по Пироговской улице. Он сказал: «Как здорово, нам повезло. Ворота открыты». Дом был большой и занимал по длине целый квартал. Мы повернули налево и вошли в парадную, поднялись на четвертый этаж. Он открыл дверь и ввел меня в комнату. Комната находилась справа, у самой входной двери. Пока я шла, немного успокоилась. Но когда я вошла в комнату, то увидела настоящий кабинет. У окна стоял большой письменный стол. Слева находился большой кожаный диван, а справа большой книжный шкаф. У этой же стенки стояла кровать. Я на нее сразу не обратила внимания. Когда мы вошли, то он велел мне сесть на диван, а потом сказал: «Здесь холодно, не раздевайся, а я пойду и принесу что-нибудь поесть. Ты закрой за мной дверь и никому не открывай. Там соседи. Когда вернусь, постучу, нет, поцарапаю по двери».

Он вышел, я закрыла дверь и села на диван. Ноги очень болели, наступать было очень больно. Ждала я долго. Все время мне представлялись разные картины… То он был ангелом-спасителем, то страшным злодеем. Чем дольше я ждала, тем страшнее мне становилось. Ведь он сказал, что сейчас принесет поесть. Он ведь ничего не сказал, куда идет. Где он возьмет еду, сейчас, во время комендантского часа? И тут я поняла, что не напрасно боялась, он привел меня в немецкую комендатуру, сомнений нет — он сейчас приведет немцев, и они начнут издеваться, как тогда, когда я была еще с мамой и сестричкой. Вот-вот сейчас откроется дверь и ворвутся немцы… Я не знала, что мне делать. Хотела убежать, но силы меня покинули. Я не могла поднять-

ся… Сидя в комнате, я, видно, расслабилась и почувствовала сильную головную боль и сильную боль в ногах. Все тело горело, но мне было очень холодно. Главное, это страх, страх, страх. Вот сейчас откроется дверь, и я уже вижу молодых, краснощеких, здоровых, высоченных немцев.

Тех немцев, которые тогда меня избивали…

Вдруг постучали, скорее, тихонько поцарапали в дверь. Вот и все, они пришли… Встать на ноги уже не смогла. Я опустилась на колени, подползла к двери и открыла ее. Он вошел и воскликнул: «Господи!», поставил сумку. Быстро закрыл дверь, поднял меня, на руках отнес к дивану и посадил на него. «Я задержался, сестра пекла блины. Давай сними валенки. А я укрою тебя одеялом». Но снять их я не смогла. Тогда он попытался снять их, но тоже не смог, они не поддавались. Мне при этом было очень больно. Тогда он взял ножницы и разрезал их. (Эти валенки были самодельными — из материи, простеганы ватой. Носили их с галошами.) Потом он снял с меня полушубок и закутал в одеяло. Затем протянул мне кастрюлю и велел есть. Но я не могла. Он стал уговаривать: «Ведь ты наверняка давно не ела, съешь хоть один блин. — Он налил мне из термоса горячий чай. — Больше тебе нельзя, хорошо прожевывай». Затем уложил меня на кровать и накрыл меня еще своей шубой. Велел мне спать. Он погасил свет, включил настольную лампу и стал писать. Я лежала, и меня трясло. Я все горела, но мне было очень холодно. Мне кажется, что когда я ночевала в склепах и подвалах, мне не было так холодно. Я лежала, и мне не верилось, что лежу в доме, укрыта одеялом… Мне казалось, что я в сапожной будке замерзаю и мне снится прекрасный сон. Я услышала, что меня кто-то будит. Открыла глаза, было светло, не заметила, что прошла ночь. Потом, когда поняла, что уже

утро и мне опять нужно идти на улицу, то хотела умолять его, чтобы он мне разрешил еще хоть один день побыть у него. Но ему сказала: «Сейчас, сейчас, сейчас я уйду». Хотела встать с постели, но не смогла и упала… Он сказал: «Ну и девчонка. Что мне с тобой делать?» Он поднял меня, положил на кровать и сказал: «Господи, да ты вся горишь…» А я все твердила: «Не волнуйтесь, я сейчас встану и уйду». Тогда он сказал: «Тебе не нужно никуда уходить. — У меня потекли слезы. — Успокойся. Меня зовут Николай, а тебя? — Я ответила. — Хорошо, слушай, Женя, слушай внимательно, я сейчас уйду. Нужно будет закрыть дверь. Ты сможешь? Никому, ты слышишь? Никому не открывай дверь. Вечером приду, и мы с тобой поговорим. Лежи тихо, чтобы соседи тебя не услышали. Вот там, у окна, стоит ведро, если тебе нужно будет в туалет. — Возле кровати стоял столик, он на него поставил кувшин с водой и вчерашние блины. Я смотрела на него преданными собачьими глазами. — Пока прими эту таблетку, ты вся горишь, у тебя высокая температура. Днем примешь еще одну таблетку аспирина». Он ушел.

С сильной болью в ногах приползла я к двери и закрыла ее. Я лежала и никак не могла поверить, что уже утро, а я лежу в постели и мне не нужно ходить по городу и всех бояться… ни немцев, ни румын, ни своих земляков, которые смогут выдать. Мне не нужно идти на Привоз, мне не нужно заходить в булочную и стоять в очереди, для того чтобы согреться, и дрожать, что кто-нибудь скажет: «Вот, смотрите, ведь это жидовочка» и позовет патруль. А ночью лежать в склепе на кладбище или в подвалах разбитых домов. Мне не нужно, не нужно, не нужно… Я просто лежу, и буду лежать целый, да, целый день в постели, а потом придет Николай! А что дальше? Разрешит ли мне Николай побыть у него еще хоть один день?

Как я смогу уйти? Ведь он мои валенки разрезал. А ноги? Ведь я не могу встать на ноги. Нет, все… больше ходить я уже не смогу. Конечно, мне сейчас очень хорошо, но что это со мной? Я очень счастливая или очень несчастная? Ведь вчера замерзнуть мне было намного легче, чем погибнуть сейчас, познав от Николая такую жалость, сострадание и заботу. Только родные могли бы так отнестись ко мне. Нет, надо успокоиться. Николай ведь все понимает, и если он мне не дал вчера погибнуть, то он что-то придумает, просто так на улицу меня не выгонит…

Я не верила в Бога, так нас воспитывали в школе и в пионерском отряде. Даже встречать Новый год с елкой вначале было запрещено. В нашем доме у меня была подруга Лена Моско. У них всегда на Новый год наряжали елку. Перед тем как включить свет, они закрывали ставни. Жильцы дома знали об этом и, конечно, не выдавали.

Да, я не верила в Бога, вместо Бога ним дали Сталина… Но теперь, лежа в постели и после всего пережитого мной за все время, со дня начала войны: зажигательные, фугасные бомбы, торпеды, мины, обстрел города снарядами, потом приход нацистов — я твердо знала, всей душой чувствовала, что есть на свете что-то такое большое, доброе и всегда рядом со мной... Да — это Бог… и никто даже теперь не сможет меня убедить в обратном. Так я лежала и вспоминала. Мама мне и сестричке всегда говорила: «Запомните, дети, навсегда… Никому никогда не завидуйте, потому что вам будет очень тяжело жить, вы будете несчастными. Предела хорошего нет. Одному хорошо, а другому еще лучше. Вы всегда обращайте внимание на людей, кому хуже, чем вам. Есть девочки, которые не имеют того, что у вас есть. Главное, нужно быть здоровыми, а зависть убивает. Сколько людей больных, калек, есть дети, у которых нет родителей, и они живут в детских домах. Нужно быть милосердны-

ми. Надо стараться помогать бедным людям. Надо любить людей. Если вы будете так поступать, то и Бог не оставит вас в беде. Вы должны не лениться и всегда добиваться намеченной цели. Тогда Бог будет с вами и всегда будет помогать вам». Мама была строже папы, но справедлива. Мамины слова мы, дети, принимали как «святое». Ведь это мама сказала! Мы знали, что мама нас любит и желает нам только добра. Я старалась так поступать, и свою дочку так же учила, и всю жизнь следовала маминым наставлениям. Никто не может меня упрекнуть по сей день, что я говорю неправду. Я всю жизнь, кроме добра людям, никогда никому не причинила зла. Я просто боюсь делать зло. Я всегда чувствую присутствие Бога. Мама мне говорила, что добро не проходит бесследно, и зло тоже, Бог видит все!

6 февраля 1942 года меня спас Николай. Это чудоспасение! Может, это за то, что я старалась делать добро? А какие добрые дела я успела сделать за мою короткую жизнь? Папе помогала в работе, маме помогала по хозяйству, ухаживала за сестричкой. Люблю животных. Я очень хорошо дружила с подругами. Если нужно, всегда приходила на помощь. Вот один из примеров. В школе на второй перемене большой, это было во втором классе, я ела завтрак, как и все ребята, и увидела девочку. Она стояла и смотрела на меня и была очень грустная. Я к ней подошла, спросила, почему она не завтракает. Она мне ответила, что мама ей завтрак никогда с собой не дает. Я с ней поделилась завтраком и сказала, чтобы она всегда на второй перемене подходила, и я ей буду половину завтрака давать, и так всегда было, пока не началась война, я с ней делилась. Я маму стала просить, чтобы она мне давала побольше. Мама была очень рада, потому что я плохо ела. Если девочка не подходила и я узнавала, что она больна, я относила ей домой. Она жила недалеко от меня в под-

вальном помещении. У нее были еще брат и сестричка. Как-то я маме рассказала о ней. Мама собрала целую сумку вещей и продуктов, и мы с мамой отнесли им. Я всегда подавала милостыню старушкам, которые стояли на углах улицы Свердлова. Это не очень большие дела. Но я была школьницей. Во время войны девочкины родители меня прятали целую неделю. Вот так я лежала у Николая и все думала, а за дверью раздавались голоса соседей.

После всего мной пережитого, когда я была свидетельницей всех ужасов и страданий людей, уже невозможно делать людям зло… Во время оккупации я видела, сколько было порядочных, честных, милосердных людей, и сколько злых, жестоких, беспощадных…

Я уже рассказывала, что был приказ для всего населения Одессы: если у кого-то найдут спрятанного еврея, взрослого или ребенка, то их дворника повесят на воротах дома или они будут угнаны этапом вместе с евреями. И все же вопреки всему были люди, которые, рискуя жизнью, прятали евреев. И в этом списке была тоже моя подруга Аня Долгова, дворник у дедушки в доме баба Варя, дедушка-нищий.

И в этом списке был, конечно, и Николай Аврамов. Я хочу еще рассказать об одном таком добром, бескорыстном, настоящем человеке!

Когда я была в Одессе в 1990 году, я часто приходила в Еврейский культурный центр. Там я встретила двух сестер, которые тоже были угнаны этапом в Доманевку в феврале 1942 года. Много лет в Одессе я их не встречала. Старшую сестру звали Фира Смотрицкая, у младшей сестры была дочка двух с половиной лет. Я знала, что ребенка спасли русские люди. С ними пришел мужчина, они меня познакомили, это был Евгений Константинович Шукшин. Он мне сказал, что его родствен-

ник — известный Василий Макарович Шукшин. Сестры мне сказали, что это и есть тот мальчик (ему было тогда 14 лет), который спас нашу девочку. Я его спросила, согласен ли он мне рассказать, как ему удалось спасти ребенка. Он согласился. Я жила в гостинице на Дерибасовской улице. Мы договорились о встрече, и он пришел.

Евгений Константинович стал рассказывать, а я его внимательно слушала. В 1942 году во время оккупации он жил в Одессе с матерью в собственном доме на Слободке. Было ему тогда 14 лет. Когда оккупанты выгнали из Одессы оставшихся евреев на Слободку, то к ним поселили двух сестер. У младшей сестры был ребенок, девочка двух с половиной лет. Евгений был единственным кормильцем. Его отец был на фронте, а мать болела. Чтобы прокормить всех, приходилось подрабатывать, где только было возможно. «Нам с матерью было очень жалко этих несчастных женщин, особенно девочку, и мы по возможности помогали им!»

В феврале 1942 года и для них настал этот страшный черный день, когда евреев с этой улицы стали выгонять из домов. В феврале стояли сильные морозы до 40-42 градусов. Таких морозов в Одессе никогда не было. И на этапе ребенок сразу бы умер. Когда румыны ворвались во двор, Евгений, не раздумывая, схватил девочку, укутал ее, убежал в сарай и спустился в погреб. Там они просидели до ночи. Ведь когда румыны заходили во двор выгонять евреев, то они не обыскивали дома и сараи, так как знали, что хозяева из-за страха за свою жизнь не будут прятать евреев, но даже сами будут выгонять их из своих домов. Когда они вылезли из погреба и вошли в дом, то мать, увидев его с ребенком на руках, вскрикнула и потеряла сознание…

Евгений Константинович мне сказал: «Вы понимаете, что в это время я пережил? Я подумал, что моя мама умер-

ла. Потом, когда все успокоилось и мама пришла в себя, она рассказала, что в страхе не заметила, как я выбежал с девочкой, и решила, что меня угнали с евреями этапом. Мама выбежала на улицу, а по улице шла большая колонна евреев, выгнанных из всех домов нашей улицы. Мама звала и искала меня, но румыны прикладами отгоняли ее. Избитая и вся в слезах она вернулась домой. Мама была счастлива и все шептала: «Мой сыночек, мой сыночек, какое счастье, ты жив!» Мы уложили девочку спать, а сами еще долго сидели и все думали, что дальше нам делать. Мы очень боялись, что нам не удастся долго скрывать девочку от соседей. Но мы надеялись, что зимой будет легче ее прятать. Выгнать девочку на смерть было выше наших сил.

Девочка осталась у нас и очень к нам привыкла. В свободное время я играл с ней, читал ей сказки. Мы дали девочке новое имя «Мария». Мы сказали ей: «Злые люди забрали маму и тетю, а тебя мы спрятали от них и ты должна вести себя тихо». Ребенок все понял и вел себя так, как ему велели. Я работал, где мог, и старался, чтобы мама с девочкой не голодали. Когда наступило лето и девочку уже нельзя было держать взаперти в доме, то мы с мамой рассказали соседям, что к нам из деревни должны привезти дочку племянницы, так как племянницу угнали немцы в Германию, а ее отец на фронте и девочка осталась одна. Мама вызвала из деревни своего брата и рассказала все ему. Когда он приехал, то мы всем сказали, что брат привез девочку. Теперь ребенок мог спокойно гулять во дворе, а когда мама уходила, то брала девочку с собой.

Вначале все было хорошо, но потом пошли слухи, что у нас живет еврейский ребенок. Когда соседи говорили нам об этих слухах, то мы сначала возмущались, но слухи продолжали распространяться. Наша девочка несколько раз прибегала в слезах и рассказывала, что соседские дети

ее дразнят «жидовочка» и кричат ей: «Убирайся, жиденок, а не то позовем румынов». Ее даже начали бить. Мы ходили жаловаться родителям детей. Одна из соседок рассказала маме, что кто-то из соседей расспрашивал девочку о ее матери, а ребенок сказал, что злые дяди забрали маму и тетю. После этого к нам пришли несколько соседей и сказали, что следует сдать ребенка в полицию. В противном случае они сами заявят, так как не хотят, чтобы они и их дети пострадали из-за нашей жалости к «жиденку». Нужно только сказать, что девочку подбросили.

Мы с мамой поняли, что больше здесь оставаться с ребенком невозможно, и сказали: «Раз вы считаете, что спасти ребенка нельзя и не разрешаете нам оставить ее у себя, так пусть будет по-вашему. Сейчас уже поздно, скоро комендантский час, а завтра мы ее отведем в полицию». Все разошлись, моя мамочка очень плакала и была в отчаянии. В эту же ночь мы собрали необходимые вещи и на рассвете ушли с ребенком, покинув свой родной дом. Мы перебрались с ребенком к родственникам. Но и там нельзя было долго оставаться. И так мы скитались и жили во многих местах, пока Одессу не освободила Красная Армия. (Фашисты вошли в Одессу 16 октября 1941 года; освободила Одессу Красная Армия 10 апреля 1944 года.) Мать и тетя остались живы, счастье какое, выжили! Они нас разыскали. Какая была радость! Когда мы встретились, мы с мамой передали сохраненную здоровенькую девочку маме и тете. Мы же с мамой вернулись в свой дом.

Евгений Константинович Шукшин проживал по адресу: 310027 Одесская обл., поселок 30 Р., ул. Парковая, д. 47, кв. 3. Мать и тетя Смотрицкая Фира.

Дорогие мои читатели! Прошу меня простить. Я снова прервала свое повествование и рассказала о благородных людях, которые вопреки всему спасали евреев…

Я продолжаю. Николай ушел, а я лежала в постели и наслаждалась каждым мгновением этого утра. Я никак не могла поверить, что это правда. У меня была высокая температура. Голова очень болела. Но я уже согрелась. Мне даже стало жарко. Лежа в постели, я слышала, как за дверью раздавались голоса соседей. Все время, пока Николая не было, я только шептала: «Господи! Господи! Пусть Николай оставит меня еще на один день». Теперь, после моего очередного чуда спасения, мне было страшно умереть. Наконец, я дождалась своего спасителя. Николай тихонько поцарапал дверь. Я хотела встать, но не смогла, опять сползла с кровати на пол и ползком открыла дверь. Вошел Николай и с ним еще один мужчина; увидели меня на полу. Николай сказал: «Она не может встать на ноги». Они меня подняли и снова уложили в постель. Его товарищ сказал: «Да она вся горит». Николай ответил: «А зачем я тебя привел?» Говорили они со мной шепотом. Николай обратился ко мне: «Женя, я тебе привел врача. Его зовут Петр, прошу любить и жаловать. Он тебя вылечит. Мы будем все вместе, чтобы ты могла разговаривать!»

За все время, что я находилась у них, я ни одного слова не сказала нормально. Говорила я мало и очень-очень тихо шепотом. Потом они откуда-то принесли «румынку» — чугунную печку с трубой. Печку установили и затопили ее. В комнате стало тепло. Сначала они топили журналами и газетами. Николай пошел к сестре, чтобы принести мне еду. Петр велел мне показать ноги. На ногах у меня были надеты чулки, и я не в состоянии была их снять. Они прилипли к ногам. Я сказала, что Николай разрезал валенки, потому что их тоже невозможно было снять, несмотря на то что они были большие дедовские. Петр ответил: «Ничего не поделаешь», взял ножницы, тихонько разрезал чулки. Мне было очень больно. Когда он их снял, то даже

вскрикнул. Стопы были опухшие, пальцев было не видно. Все слилось в единую черную подушку. Он нагрел воды, тихонечко ватой все промыл, потом смазал какой-то жирной мазью и забинтовал, дал мне таблетки и горячий чай. Вскоре пришел Николай, принес горячий суп и пшенную кашу. Но кашу я есть не могла. Поела немного супа. Николай сказал: «Не унывай! Вот ты увидишь, через неделю сможешь уже ходить. Петр тебя вылечит». Петр ответил: «Хорошо, что тебя не было». Николай промолчал, но все понял.

Так я стала жить у Николая. Петр был украинцем невысокого роста, тихим, скромным, даже немного застенчивым, носил усы. Николай был высоким, стройным, энергичным. Он казался веселым, ему было 32 года.

Больше я о них ничего не знала, только то, что сестра Николая живет тоже в этом доме. Вопросов я не задавала, но подумала, что если Петр остался ночевать, то где он будет спать? Ведь прошедшую ночь Николай спал на диване. Я сказала Николаю, что лягу на диван, так как «вдвоем вам будет на диване тесно». Николай рассмеялся и сказал: «Ты не волнуйся, ведь у меня в этой квартире есть еще одна комната, довольно большая, и мы с Петром поместимся, тебя не будем беспокоить. Вот тебе таблетку на завтра». Петр дал мне градусник и сказал: «По-моему, ты уже не такая горячая». Действительно, мне стало немного легче, только очень болели ноги. Николай сказал, что они завтра придут домой вечером после работы. «У тебя до вечера все есть, лекарства обязательно принимай». Когда они уходили, то велели закрыть дверь и никому не открывать.

На следующий день они пришли вдвоем и принесли много продуктов. Николай сказал: «Мы получили паек, и все это тебе, так как мы его давно ждали, и стоило только тебе появиться, как мы его получили. Я ответила: «Если все это мое, значит, я имею право вас угостить. Пожалуйста,

ешьте на здоровье!» Николай рассмеялся! Это был чудопаек! Я давно не видела ничего подобного: масло сливочное, подсолнечное, сахар, хлеб черный и белый, печенье, халва, конфеты, рыбные консервы, тушенка, макароны, пшено, селедка, лук, чеснок, соль и две бутылки водки. Ведь это были два пайка. Николай растопил печку. Петр сказал: «Закатим пир». Они сварили макароны, приготовили селедочку. Николай принес посуду и рюмочки. Придвинули к моей постели столик. Когда все было готово, Николай всем налил водки. Я сказала, что не умею пить. Тогда Николай сказал: «Я налью тебе чуть-чуть. Провозглашу тост, и попробуй не выпить. За Победу! За нашу Победу!»

Мы выпили и хорошо поели. Потом Николай сказал: «Женечка, ты останешься жить! Ты будешь жить! Ты будешь жить! Когда мы прогоним этих гадов, то мы втроем поедем в Аркадию, будем сидеть под зонтиком, кушать мороженое, любоваться морем и вспоминать, как ты находилась в подполье на четвертом этаже. Женечка, ты слышишь? Ты обязательно останешься жить!» Я сидела, слушала, и мне казалось, что это прекрасный сон.

Дни шли, Петр меня лечил, мне становилось легче, ноги стали светлеть, опухоль постепенно спадала. Когда они уходили, я прибиралась в комнате. Ходила по комнате очень тихо. У Николая были очень хорошие книги. Я читала. Так я жила, а за дверью жили соседи, и до конца никто не знал, что я живу у Николая… Как-то Николай присел ко мне на кровать, когда мне стало легче, и сказал: «Вот теперь мы можем поговорить. Когда я тебя увидел, не мог поверить глазам… Комендантский час, ни души, по городу ходят только одни патрули… Я спешу домой, задержался на работе и, несмотря на то что у меня ночной пропуск, волнуюсь… Черт его знает, что может взбрести в голову этим гадам-патрулям… А тут передо мной человек маленький

и из-под шубки почти не виден». (Я уже писала, что носила полушубок со взрослого плеча, который папа получил на работе вместо зарплаты, он был велик, зато я могла надеть на себя много теплой одежды, но, к сожалению, шубка есть, а одежда осталась в доме, откуда мне пришлось бежать.)

Николай продолжал:

— Что это? И почему эта девочка одна на улице в такое время? Но когда ты потеряла сознание.., я все понял, что это несчастное существо, чудом еще уцелевшее.., я был потрясен, и вот ты теперь пока спасена. Подожди… Я должен все организовать. У меня такой план. Первое — ты должна встать на ноги и окрепнуть. Я уже договорился: мы тебе переправим к товарищам немцам-колонистам.

Я испугалась, сказала:

— Николай, ведь немцы-колонисты ходят в форме СС, и они еще хуже и страшней, чем немцы. — Николай мне ответил:

— Среди них есть честные советские патриоты. Мы приготовили тебе документы и обязательно перекрасим тебе волосы, но это будет во второй половине марта, когда станет тепло. На твою долю выпадет еще немало испытаний. Ты будешь работать в подполье.

Николай меня учил, что во время сильного мороза, чтобы не отморозить ноги, надо завертывать их в газеты. Когда я попаду в такие условия, что надо будет экономить воду, тогда надо будет пить маленькими глоточками, медленно, и ты утолишь жажду малым количеством воды.

— Теперь, — сказал Николай, — я расскажу о себе. Но я надеюсь, что, где бы ты ни была и что бы с тобой ни произошло, ни при каких обстоятельствах ты не должна говорить обо мне. Ты меня не знаешь и никогда не видела…

— Да как же я могу Вас подвести, ведь Вы мой спаситель! Ведь Вы и теперь рискуете своей жизнью, если меня

найдут у Вас! Я чувствую, я знаю, бог Вас послал мне в такую страшную ночь… Я даю клятву! Что бы ни произошло и какие на мою долю еще ни выпали бы испытания, я ничего не скажу, ни под какими пытками… Клянусь!

— Хорошо, я тебе верю… Женечка, я из Москвы, моя фамилия Аврамов. Я специально послан в Одессу. Ты знаешь, что в этом доме живет моя сестра, и поэтому меньше подозрений. Я работаю в «Одесской газете», ее издают немцы. У меня есть пропуск, с которым я могу ходить ночью во время комендантского часа и днем даже на охраняемые немцами объекты. На дверях моих комнат висят таблички, где указано, что в мое отсутствие никто не имеет права вскрыть мое жилье. Мои комнаты не подлежат реквизиции.

Я жила у Николая и, конечно, была счастлива. А главное, появилась Надежда… Как только мне становилось легче, появлялась Надежда… Я начинала думать о маме и сестричке. Я рассказала Николаю, где они последнее время находились. Николай обещал послать ребят на Слободку и постараться их разыскать. Через два дня Николай мне сказал, что ребята нашли дом, где они находились. Хозяйка рассказала, что маму с сестричкой угнали этапом. Ребенок был очень болен.

— Но ты не теряй надежду, — сказал Николай. — Многих молодых людей не расстреливают, а отправляют в Одесскую область на работу в лагеря, может, и они уцелеют. Ведь твоя мама молодая?

— Да, ей 36 лет.

— Вот видишь? А тебя мы отправим в подполье, и ты будешь там все делать, что тебе велят. Когда все будет готово, мы тебя проинструктируем.

Я его спросила, скоро ли меня отправят. Николай ответил:

— Твое дело — набираться силы и встать на ноги. Ведь ты туда едешь не в санаторий, там не менее опасно, чем здесь прятаться от немцев.

— Если погибну, то не зря… Я отомщу за родных и сестричку.

Вскоре Николай пришел с женщиной и сказал:

— Ты не бойся, это свой человек. Она пришла перекрасить тебе волосы, ее звать Ольга.

Ольга сказала, что будет волосы обесцвечивать перекисью. Но мой черный волос трудно поддавался, и она сказала, что придет еще один раз. Во второй раз она травила мой волос перегидролью, и пришлось долго сидеть. Все же волос получился золотистый, но не «солома», как они хотели. На следующий день Николай привел парня и сказал, что надо сфотографироваться для румынского документа, для того чтобы его зарегистрировать. Я все делала, что говорил мне мой спаситель. Я ему сказала, что если останусь жива, то никогда его не забуду.

Как-то постучали в дверь. Николай был дома, он велел мне залезть под кровать. Я каждый день протирала весь пол мокрой тряпкой, я всегда была готова к такому случаю.., но как назло мне очень хотелось чихнуть. Я зажала нос. Николай старался говорить громко и был очень гостеприимным. Мне казалось, что этот мужчина гостит очень долго. Каждая секунда была вечностью… И еще мне показалось, что голос очень знакомый. И вот наконец-то он ушел. Я сказала Николаю, что его голос мне знаком. Он ответил, что это домоуправ и он очень опасен. Я рассказала Николаю, что когда пришли немцы, то у нас в доме появился новый домоуправ. Он был высокий, очень худой, с длинным большим носом. Все жильцы его боялись. Он как зверь бегал по квартирам и всех предупреждал,

что если кто-нибудь будет прятать евреев, коммунистов — будет повешен на воротах. И вот такой злодей оказался у Николая дома. Николай сказал: «Это он».

Он еще раза два приходил к Николаю, и мне приходилось лежать под кроватью. Николай старался громко говорить, создавал шумы, двигал стулом и очень нервничал. Во второй раз, когда он пришел, то рассказал Николаю, что в этом доме нашли вход в катакомбы. Во многих домах города были такие ходы в катакомбы. В нашем доме тоже были ходы. Хочу напомнить: катакомбы — это система подземных сооружений под Одессой, которые образовались при добыче ракушечника. Ракушечник в форме блоков использовался при строительстве домов Одессы. Наш дом был тоже построен из ракушечника. В Одессе все катакомбы имели выход к морю, и они использовались до революции контрабандистами.

А во время Гражданской и Великой Отечественной войн в них прятались евреи, партизаны, подпольщики. Этот бандит «домоуправ», фашистский халдей, рассказал Николаю, что в катакомбах захватили группу партизан, были и «жиды». «Горе тем, кто прячет жидов. Но ничего, настал наш час, когда все жиды, коммунисты и сочувствующие им будут уничтожены!!!» Выходя, он щелкнул каблуками и произнес: «Хайль Гитлер!»

А я в это время лежала под кроватью, дрожа от страха уже не за себя, а за Николая. С тех пор как этот страшный человек пришел к нам и до последнего дня, пока я была у Николая, я снова жила в страхе. Одна надежда, что Николай отправит меня к партизанам. Николай все успокаивал: «Потерпи, уже скоро».

Потом начались новые испытания. Николай и Петр, и раньше бывало, не каждый день приходили домой. Я никогда не задавала никаких вопросов. То, что Николай расска-

зывал, я и знала. Он мне говорил: «Это работа». Продукты кончились. Иногда они приходили, Николай приносил от сестры горячую пшенную кашу. Я ее делила на несколько дней, потому что не знала, когда они придут. Один раз он пришел днем взволнованный, это было последнее число февраля, сказал, что пойдет переодеться. Когда он вошел, я его не узнала.

Николай сказал: «Не пугайся. Ну как, меня можно узнать?» Я смотрела и не могла проронить ни слова. Он сказал: «Значит, все в порядке». На нем были надеты какой-то ватник, кепочка и приклеены усы. Он надел очки, спросил:

— Ну, как узнать можно? Надо проследить одного гада. За мной увязался хвост.

— Николай, не бросай меня, я тоже пойду.

— Не волнуйся, я скоро приду. Куда ты пойдешь? Ведь ты же босая. — Где-то часа через два он пришел. Если бы я не была босая, я бы тут же ушла. Я переживала за Николая — если меня застанут у него, то даже страшно подумать, что будет. Но у меня не было обуви, притом он сказал, чтобы я не волновалась, все будет в порядке. Когда он пришел, переоделся, я почувствовала, что он успокоился. И только тогда сказал:

— Боже, ведь у тебя нечего кушать, ты ведь голодала. — Мне показалось, что он не заметил, что я столько времени была одна. Он пошел к сестре и принес еду, хлеб и суп:

— Ешь.

— А ты?

— Я уже сыт. — Вынес ведро, принес воды и затопил печку.

Я ведь сама тоже могла топить, но я не имела права громко шуметь. Я ведь рисковала не только собой, но и Николаем. Я поела очень мало, надо было экономить. За это время я почти половину сырого пшена поела. На следующий день он принес коричневые туфли. Они оказались на раз-

мер больше. Я сделала из картона стельки, в носки вложила вату. Счастье, что они были на шнурках (полуботинки). Он еще принес чулки, белье, теплый свитер и вязаный берет.

— Скажи, что еще тебе нужно? — Я не успела ответить, как он сказал: -Да, я совсем забыл, ведь у тебя только шубка, а ведь становится уже тепло. Нужно обязательно достать пальто или что-нибудь для весны. Ведь в шубке ты не сможешь ходить… Но пока у тебя есть теплый свитер.

Потом он взял мои вещи, чтобы постирать. И так я уже была готова к походу. Ноги внешне прошли, но еще болели. Все эти дни Николай почти каждый день приходил домой, иногда вместе с Олей. Он сказал: «Женечка, не вешай нос. Документы почти уже готовы. Скоро ребята тебя отправят к партизанам, а пока вот тебе молитвенник. «Отче наш» обязательно, и все остальные. Сколько сможешь, выучи. Я договорился с батюшкой, он тебя окрестит». Через два дня пришел батюшка, и весь обряд был совершен. Николай сказал: «Так надо. Батюшка выдаст официальный документ, и мы приложим его к твоим документам».

Как-то, уходя из дома, Николай сказал: «Меня не будет два дня, но ты не волнуйся. У тебя на два дня все есть. Ведро чистое, воду я приготовил, на два дня еды хватит. Если что случится, придут ребята. У них есть ключ. Ты только, когда закроешь дверь, вытащи ключ на всякий случай. Если через два дня меня не будет, то ребята переведут тебя в другое место. Но не вешай нос. Все будет в порядке». Я спросила: «Где Петр?» Он сказал, что на задании. Теперь я уже больше волновалась за Николая и за Петра! Ведь они все время рисковали… Каждую минуту их могли разоблачить.

Он ушел, и я опять начала ждать… Я старалась успокоиться, все шептала, что с Николаем ничего не случится, все будет хорошо. А сердце сжималось, и пред-

чувствие рисовало страшные картины. Николай не пришел ни через два, ни через три дня. Прошло уже пять дней, а его все не было. Один раз приходил домоуправ (я узнала его по голосу). Он постучал, соседка сказала, что Николая давно не видела. За все время ожидания рассказать о своем состоянии я не смогу…

Но почему ребята не пришли? Если бы его арестовали, то пришли бы с обыском. Но пока было тихо. Значит, за ним следят. А я ждала и старалась экономить воду. Пила маленькими глоточками, как учил меня Николай, потом смазывала язык и губы водой. А ведь за дверью на кухне была вода. Но я бы умерла от жажды, но пойти на кухню я не посмела. Я боялась соседей. Они могли меня выдать, а пострадал бы Николай. Я ждала, и мне казалось, что вот-вот ворвутся румыны и все увидят, что Николай прячет еврейку. Боже, что они с ним сделают? Это было для меня сейчас самое страшное. Я решила уйти. Я оделась. Несколько раз подходила к дверям. Но за дверью слышались голоса. Я решила дождаться ночи, когда соседи уснут. И вдруг услышала шум и румынскую речь. Это был конец.., я ведь чувствовала, что так произойдет, но все же надеялась… А тут румыны уже за дверью. Я слышу, они стучат и дергают ручку. В это время я думала: почему не ушла? Я только думала: что будет с Николаем? Мне ведь положено умереть, днем раньше, днем позже. Но почему Николай должен пострадать?

Вдруг я услышала, по-русски спрашивают: «Где ваш сосед?» Женщина ответила, что его она уже давно не видела и вообще он редко бывает дома.

— А когда вы последний раз его видели?

— Наверно, больше недели.

— Он один живет?

— Да.

— А где его жена?

— У него нет жены.

— Но ведь у него живет женщина?

— Мы женщину никогда не видели. С ним иногда приходит товарищ и ночует у него.

Они еще немного постояли, слышно было, как румыны что-то говорили. Потом по-русски голос сказал соседям, что если они увидят у него женщину, чтобы сообщили, потому что без прописки нельзя жить.

Они ушли. Я не могла понять: почему они не вскрыли дверь? Значит, он не арестован. Итак, они пришли за мной. Кто-то донес… Когда стало тихо, я окончательно решила уйти. Надо спасать Николая. По времени уже наступил комендантский час. О себе я не думала… Но выйти было еще опасно. Я решила ждать, когда лягут спать соседи, я постараюсь тихонько уйти. Боже, только бы удалось. Вдруг я услышала, что открылась наружная дверь и послышалось знакомое царапанье. Я чуть не вскрикнула и тут же открыла дверь. Он меня спросил: «Что это значит? Почему ты одета?» Он был взволнован. Я бросилась к нему, чтобы рассказать… Он сказал: «Я все знаю. Все хорошо, что хорошо кончается. Разве ребята к тебе не приходили?» Я ответила — нет. «Боже, как же ты жила и терпела голод? Ни воды, ни еды…» Я сказала, что пила, как он меня учил. «Ну, ладно, успокойся. Все уже позади. Но почему ты одета?» Я сказала, что боялась: если меня найдут, что будет с Вами? Я вся дрожала.

Николай разделся, принес воды, вынес ведро. Потом подошел ко мне и сказал: «Ну, ты молодец! Раздевайся. А я сейчас что-нибудь принесу поесть». Он ушел, а я стала раздеваться. Николай вскоре пришел: «На, ешь понемногу, потому что давно не ела…» Я ела, а Николай мне рассказывал: «Женечка, потерпи еще несколько дней,

мне передали, что все устроилось. Документы готовы, все в порядке. На днях придут товарищи и тебя увезут. Только надо еще достать летнее пальто. Ведь у тебя только шубка». Вот так мы сидели, я его слушала, и опять надежда… Когда он приходил, я немного успокаивалась, у меня была передышка. Я ему начала рассказывать: «Какой был у меня страх, когда я услышала, что румыны появились за дверью». — «Как? Какие румыны? Я же сказал своим ребятам: если что-то случится, чтобы они тебя забрали отсюда», — сказал Николай. Я ответила ему, что никто ко мне не приходил и только румыны были за дверью.

«Они стояли за дверью, шумели, стучали. И один из них по-русски спросил соседку: «Где ваш сосед?» Соседка ответила, что давно Вас не видела. Спросили: «Где его жена?» Она ответила, что у него нет жены. «Живет ли у него женщина?»

«Господи! Что же ты мне сразу не сказала? — Я молчала. — Надо тебе немедленно уходить… Ты одевайся, а я пойду к Петру. Будь готова. Петр тебя утром спрячет, а потом мы тебя перевезем в другое место, пока не придут за тобой».

Он ушел. Я снова оделась. Вскоре Николай пришел, и мы с ним вышли из дома… (итак, с 6 февраля по 13 марта я находилась у Николая). Мне казалось, что я прожила у Николая целую вечность. Мы зашли в другой подъезд. Петр жил на втором этаже. Николай меня оставил, сказал: «Потерпи, все наладится». Я у Петра сидела, а когда начало светать, он дал мне чаю с хлебом. Комната у Петра была сильно заставлена до потолка стеллажами с книгами. Петр сказал: «Ну что, поела? А теперь нужно уйти». Когда мы шли, я ему сказала, что мне было очень страшно. Боялась, что они вскроют дверь и увидят, что Николай прячет еврейку. Петр ответил: «Пока Николая не арестуют, дверь не имеют права вскрывать». Мы шли по улице Пироговской в сторону улицы Свердлова. Он меня довел до раз-

битого дома. Петр стал спускаться в подвал, я шла за ним. Подвал также был разбит. Петр нашел более закрытый сарай, там стоял деревянный ящик. Петр сказал: «Вот здесь ты побудешь до вечера, а вечером я за тобой приду. Мы тебе найдем место. Ты сиди, никуда не выходи. Опасно…»

Я просидела до вечера, никто не пришел. Я просидела всю ночь, было очень холодно и страшно. Я слышала, как бегали крысы. Было темно, но мне казалось, что я вижу какие-то тени. Настало утро, я не верила, что они не придут… Значит, не могли найти мне место. Днем через маленькое окошко без стекла светило солнце. Я видела, как по улице ходят люди. Людей я не видела, видела только ноги. И так я прождала двое суток, я хотела уйти, но боялась, что именно когда я уйду, они придут за мной. У меня были марки, я могла выйти и, если меня не поймают, купить семечки. Это самое дешевое. Но я боялась даже перейти в другой сарай (там было намного суше). Вдруг они меня не заметят… Все ж на третьи сутки днем вышла. Я больше не могла сидеть и при том уже поняла, что за мной никто не придет. Я решила, что, наверное, за ними следят и они уже не смогут больше мне помочь. И так я опять оказалась на улице. Ночью я заходила в этот разбитый подвал, а днем сидела на скамейке у остановки трамвая №5, который шел в Аркадию.

Остановка была прямо на углу Пролетарского бульвара и Пироговской улицы. С этого места хорошо были видны ворота дома, где жили Николай и Петр, Пироговская, дом № 3. (Мой муж Илья до войны жил с родителями тоже на Пироговской, только дом № 5, рядом; я до войны бывала у него дома и не знала, что скоро наступят черные дни и мне придется прятаться на Пироговской, чтобы меня не убили только потому, что я еврейка.) Все же мне не верилось, что если они на свободе, то меня бросят. Тем более

что уже были готовы документы. И так я целый день сидела на скамейке и боялась прозевать Николая или Петра. Я только утром купила у бабушки семечки, а все остальное время смотрела на ворота. И так прошло несколько дней. Пойти к Николаю домой было невозможно. Я бы попросила кого-нибудь, чтобы пошли к Николаю, но боялась, вдруг выдадут. Итак, я Николая больше не видела.

Когда я сидела на скамейке, ко мне подошла девушка, ей было лет 17, и села рядом со мной. Мы сидели и молчали, она заговорила первая. Мы обменялись несколькими фразами, она мне сказала, что уже несколько дней наблюдает за мной, и, несмотря на то что я светлая (ведь у меня был волос перекрашен), она поняла, что я еврейка. Я испугалась, хотела уйти, но она сказала, чтобы я не боялась, потому что и она еврейка. Я удивилась, не поверила ей. Она совершенно на еврейку не была похожа. Я ей это сказала. Она ответила, что отец у нее русский и он на фронте, а мама еврейка, их со всеми евреями выгнали из дома. Мама и младший братик погибли на Дальнике. Она пока жива, у нее русский паспорт, и она ночует у родственников отца. Она меня спросила, где я ночую. Я ей все рассказала…

Она сказала, что возьмет меня с собой. Я сказала ей, что у меня есть немного марок. Мы с ней пошли на Привоз. И так я опять оказалась на базаре. Но в этот раз мне почему-то не было так страшно. Во-первых, я шла с русской девушкой, во-вторых, и сама была светлая, не бросалась так в глаза. Был уже конец марта. Евреев уже в городе не было. Люди, выдававшие евреев, успокоились, и жизнь в городе, после массового уничтожения евреев, стала более спокойной. Мы купили еду и поели. Потом Лена сказала: «Пойдем на кладбище. Я днем часто хожу и сижу у какой-нибудь могилы. Там спокойней». Я ответила, что знаю.

К вечеру она повела меня на ночлег. Мы пошли по Пролетарскому бульвару в сторону Аркадии. Прошли довольно долго, и нам нужно было повернуть налево в сторону моря, чтобы пройти через патруль. Этот район усиленно охранялся немцами. Я уже говорила, что в городе шли слухи о том, что Одессу и всю Одесскую область немцы отдали румынам. Вся черная работа по уничтожению евреев, коммунистов и других была поручена румынам. Но вокзал, порт и вся набережная полоса были в руках немцев. Лена сказала мне, что бояться не нужно, так как паспорт у нее русский. Она уже не раз проходила с ребятами, и немцы уже к ней привыкли, поэтому она сможет провести и меня, «тем более ты такая худенькая, что выглядишь ребенком, притом у тебя светлые волосы». Так и получилось, немцы нас пропустили. Вскоре мы вышли к парку, и она показала мне вход в погреб. Погреб был очень глубокий. Там стояла всякая старая мебель и деревянные бочки. Лена зажгла керосиновую лампу. Потом взяла солому, которая лежала в углу, и уложила на кровать, сказав: «Вот здесь мы будем ночевать, ты не бойся, кровать широкая. Под голову положим еще твою шубку. Я тебя одну не оставлю».

Недалеко от погреба находился дом, где жили родственники Лены. Она оставила меня в погребе, а сама пошла в дом и вскоре вернулась с едой и водой. (И так мы три дня ночевали в этом погребе.) Утром мы уходили, а вечером возвращались. Днем сидели на кладбище у какой-нибудь могилы, на кладбище пока облав не было и там было спокойно. На четвертые сутки она меня спросила, привыкла ли я и не страшно ли мне будет ночевать одной. Я ответила, что очень ей благодарна и что она и так для меня много сделала, дав место, где можно ночевать. Ведь она, рискуя, ночевала со

мной в этом сыром подземелье, пусть она не волнуется, я не боюсь, я боюсь только немцев, румын и некоторых наших земляков. А сейчас я просто счастлива, что есть, где ночевать, и что у меня есть такой друг, как она.

Мы договорились, что я пойду в погреб одна. Лена мне рассказала, что эти дни, что она спала со мной, родственники очень волновались. «Я им рассказала о тебе и что мне тебя очень жалко. Они ответили: всех невозможно жалеть». Я промолчала. Лена им сказала, что ночевать будет дома. «Ты меня пойми». Я ответила, что все понимаю, спасибо за все… Мы договорились, что я пойду в погреб, а она к родственникам, а утром она меня будет ждать в парке. Вечером мы прошли мимо патрулей спокойно (они уже нас видели). Конечно, когда проходили мимо патрулей, у меня сердце замирало… Мне Лена сказала: иди прямо к погребу, не бойся, утром, как договорились, встретимся. И мы разошлись, она пошла домой, а я — к погребу.

Когда подошла к погребу, увидела на дверях большой амбарный замок. Это было так неожиданно, что я остолбенела. Я не могла двинуться с места. Это продолжалось какое-то мгновение, инстинкт самозащиты сработал и на сей раз. Я бросилась в кустарник. Стояла там, боясь шелохнуться, боялась дышать… Я только думала: что делать? Что делать? Ведь эта территория охранялась немцами. И вдруг я услышала немецкую речь, и мимо меня прошел патруль. Я стояла чуть жива. Так я простояла очень долго. Даже присесть боялась, чтобы шорох листьев не выдал меня. Слышалась вдалеке немецкая речь, какие-то шумы. Потом все стихло. Я стояла, ноги сильно болели, все думала, что это настал конец… Сосредоточившись, я вспомнила, что по дороге налево, когда мы проходили с Леной в погреб, я видела разбомбленный двухэтажный дом. Я решила туда пробраться. Мне терять уже

было нечего. Стоять всю ночь в кустарниках я не смогу. Притом Лена мне говорила, что немецкие патрули несколько раз за ночь проходят всю территорию, и если я даже выдержу.., то наверняка патрули меня найдут.

Надо было решать, пока все тихо… Да в любом случае это конец… А вдруг? И я решила тихонько пробраться к дому, пока все тихо. И я, согнувшись, тихо, как мышь, стала пробираться к дому. Вход к дому был расчищен. Потом я поняла, что немцы ходили в дом за дровами. Справа вдалеке от дома стояла наблюдательная вышка, и наверху светился огонек. Я все же сумела пробраться в дом, в полумраке слева разглядела лестницу, которая вела в подвал, а прямо передо мной буквально висела лестница, которая раньше вела на второй этаж. Я, конечно, стала спускаться по лестнице, которая вела в подвал. Сошла вниз и прошла вдоль коридора, слева были сараи. И я наткнулась на дрова, полезла по ним и уселась у стенки в конце сарая. Решила так просидеть до утра, а утром выйти из дома, когда появятся люди, идущие на работу. Может, так не заметят, ведь у меня были светлые волосы. Все надежда, надежда, надежда… Но если поймают, то, конечно, пусть лучше застрелят, чем будут мучить. Так я сидела, и рассказать, что я чувствовала, невозможно. Незаметно я уснула…

Вдруг я услышала немецкую речь и слышу, как спускаются в подвал. Все, это конец… Я и сейчас не могу понять: как я осталась жива? Оказалось, что немцы пришли, чтобы взять дрова. Сидя в сарае на бревнах, я поняла, что вот они сейчас включат свои батарейки и, конечно, увидят меня. Я немного понимала по-немецки. Мы в школе изучали немецкий язык, притом я понимала идиш. Я услышала, что один немец говорит другому: «Я оставил батарейку. Давай, включи свою». Я слышу, как немец чиркает, а батарейка не зажигается. Они стали кри-

чать друг на друга и в темноте тащили бревна. Я чуть приподнялась, чтобы они смогли вытащить из-под меня бревно. Вдруг один немец сказал: «Что-то там какой-то шорох?» Я замерла, а они стали бросать камушки. Потом другой сказал: «Да это, наверное, крысы». Я сидела и даже боялась дышать. Один из немцев сказал: «В темноте все равно дров не возьмешь, пойдем». Они ушли.

Я до сих пор не могу поверить в это, ведь немцы всегда при себе имели батарейки… Но это ведь со мной было!.. (Я считаю, это Бог меня спас…) Когда они ушли, я поняла, что оставаться здесь нельзя. Ведь они скоро придут за дровами с батарейками. Я поднялась по лестнице наверх. Где спрятаться? Передо мной висела лестница, которая вела на второй этаж этого разбитого дома. Я решила по этой лестнице подняться на второй этаж, но я не была уверена, что эта лестница окончательно не сорвется. Но терять мне было нечего, так или иначе мне смерть, и я полезла по лестнице вверх. Наверху все было разбито, в одной комнате уцелел небольшой кусок пола. И мне удалось по балкам пройти и сесть на этот кусочек пола. Так я просидела до утра; утром, когда стало шумно в парке, я потихоньку сошла с этой висячей лестницы. Слава Богу, лестница не оторвалась, и я вышла живая из этого ада… (То, что я рассказала, это почти неправдоподобно. Но… это все же было со мной.)

В том месте, где мы должны были встретиться с Леной, ее не было. Я решила пойти опять к трамвайной остановке, может быть, Лена придет. Я три дня сидела на скамейке и ждала Лену. Но она не приходила… Мне не верилось, что она меня бросила. Ночами я опять сидела в этом разбитом сарае, куда меня тогда привел Петр. На третий день, когда я сидела на скамейке и ждала Лену, то одновременно снова смотрела на ворота дома,

где жили Николай и Петр. Вдруг мне повезет, и я увижу Николая или Петра… Боже, какое счастье! Я увидела — из ворот дома вышел Петр, он направлялся в мою сторону, видно, к трамвайной остановке… Неужели это правда? Я хотела броситься к нему навстречу. Но, пересилив себя, я решила ждать… И когда он уже подходил к углу, я встала и тихонько направилась к нему навстречу. Он меня увидел и буквально остолбенел. У него было такое растерянное лицо… А я вся сияла, про себя думала: какое счастье! Ведь это Петр! Он меня быстро спросил: «Что, тебя еще не поймали?» Я от счастья задыхалась… Мне хотелось все ему рассказать…

А он мне быстро сказал: «Продержись до завтра, я что-то придумаю, а завтра в 12 часов приходи на улицу Пушкинскую и Чкалова (Б. Арнаутская) у аптеки. Только ровно в 12 часов». Я хотела спросить, где Николай и почему они за мной не пришли. Мне нужно было столько ему рассказать… И столько же спросить… Но он только сказал: «Ты поняла?» Я кивнула головой, и он ушел… А я счастливая вернулась и опять села на скамейку. Я сидела, и мне хотелось кричать: «Вот видите, я не одинока! Я нашла опять своих спасителей. Теперь они меня отправят, как обещали. Ведь у них для меня были уже приготовлены документы».

Посидела еще немного, Лена не приходила. Я ушла, немного походила по улицам, переулкам, где было меньше людей, купила у бабушки семечки (это было самое дешевое), и когда стало темнеть, я вошла незаметно в этот разбитый дом, куда меня тогда привел Петр… Во дворе этого дома, как во всех одесских домах, была вода и уборная. Я попила воды и спустилась в сарай. Так я просидела всю ночь. Спать я уже не могла, слышалось, как бегают крысы и орут кошки. Но в эту ночь мне не

было страшно и холодно… Ведь завтра в 12 часов я увижу моего спасителя… Я просидела всю ночь и все утро. Я слышала, как по улице ходят люди, светило солнце и было шумно. Я решила, что пора!

Было еще холодно. На мне был надет только свитер. Николай не успел достать для меня пальто. Шубку я уже не могла носить, ведь уже конец марта, поэтому я шубку свернула вверх подкладкой, в сарае я нашла веревку, и получился у меня пакет. Несмотря на то что было еще холодно, мне пришлось ходить в свитере. Но я надеялась, что скоро я увижу Петра и мои мучения кончатся. И так я пошла на встречу с Петром. Я только думала: скорей, скорей, ведь каждая минута могла быть последней… Я дошла до аптеки на Пушкинской и Чкалова (Б. Арнаутская). Петра еще не было. Прошло немного времени, и ко мне подошел взволнованный Петр.

Счастливей меня не было на свете! Петр сказал: «Пойдем». Мы прошли несколько шагов, и вдруг он говорит: «Все, за мной увязался хвост, ты иди, а я постараюсь от него избавиться, через три часа опять жди меня» — и ушел. На улице Чкалова жила Аня Долгова с мамой (я уже о ней рассказывала). Она мне помогла уйти вначале со сборного пункта. Я решила зайти к ней во двор, сойти в подвал и просидеть эти часы. Это лучше, чем ходить по улицам… Ведь уже весна, яркое солнце. Зимой в мороз было легче ходить. Люди меньше обращали внимание; как я уже говорила, в Одессе зимой 1942 года были сильные морозы.

Только я вошла во двор, почувствовала, как кто-то схватил меня за плечо. Я повернулась и увидела мужчину, он мне сказал: «Давай пойдем, только без шума». Лицо у него было очень злое. Я стояла и смотрела на него, он спросил: «Чего ты смотришь? Пойдем…» И я пошла. Он мне сказал: «Надо же, как тебе удалось до сих пор не быть пойманной?

Кто тебя прятал?» Я молчала, он продолжал: «Ничего, там тебе быстро развяжут язык. Ты все расскажешь». Я молчала, и мы с ним пошли по Пушкинской улице, по правой стороне в сторону моря. Мы прошли филармонию и вскоре, по-моему, в следующем квартале, подошли к дому, вошли во двор и спустились в подвальное помещение. Он был в штатском, русский или украинец, потом позже я узнала его фамилию (Кардашов). Потом в подвальном помещении я увидела мужчину в штатском, румын-офицеров и солдат. Меня он завел в одну из комнат. За письменным столом сидел румынский офицер, а с другой стороны письменного стола стояло высокое, черное старинное кресло. На спинке кресла была изображена высокая, черная фигура мужчины, который на вытянутой руке держал факел. Еще в этой комнате было несколько румынских солдат. Этот, который меня привел, сказал: «Наконец, мы ее поймали». Я вся дрожала, не могла понять, почему они меня искали. Кто я? Просто девочка-еврейка, таких, как я, тысячи. Правда, в марте 1942 года в Одессе уже не было евреев. Оставались только те, которым удалось где-то еще прятаться. Но почему они именно меня искали? Откуда они меня знают? Я этого никак не могла понять. Но это потом…

А пока я попала в руки румын…Это учреждение называлось «Сегуранца» — как у нас НКВД. Румынский офицер очень обрадовался, встал и пожал ему руку, похлопал по плечу. Потом сказал что-то солдату, солдат подошел ко мне, толкнул меня в спину и повел по коридору; коридор был темный и длинный. Мы подошли к двери в конце коридора. Там стоял солдат с повязкой. Солдат открыл дверь, и они меня втолкнули, дверь за мной захлопнулась. В комнате был полумрак, вначале я ничего не могла разглядеть, и вдруг я услышала голос: «Еще одну привели!» В комнате стало шум-

но; приглядевшись, я увидела на полу людей, мужчин и женщин. Это тоже были арестованные. Коммунисты, партизаны, воры, спекулянты, и только я одна еврейка. Здесь каждого допрашивали отдельно и отправляли кого куда. Например, коммунистов и партизан отправляли к немцам, спекулянтов и воров — по полицейским участкам. Настала и моя очередь.

Меня привели снова к этому офицеру. Он улыбнулся, велел мне сесть в кресло напротив. Он долго на меня смотрел, потом сказал на ломаном русском:

— Ну, я жду, давай рассказывай.

— А что мне говорить?

— Ну, что было с тобой все это время?

— Я хочу жить! Всех моих — маму, сестричку, бабушку — уже уничтожили. Папу-ополченца на привокзальной площади повесили. Я не понимаю, почему нас убивают и что я такого сделала, что меня хотят убивать?

— А ты не знаешь? — А сам улыбается. — Да ладно, ты еще девочка, у тебя вся жизнь впереди, так помоги нам, и я тебе даю слово, что я сам тебя спрячу. Ты останешься жить. — Я на него смотрела и молчала. Тогда он стукнул по столу и крикнул: — Ах ты, дрянь! Ты будешь говорить? — Я сидела, и мне казалось, что он в меня выстрелит, я продолжала молчать. Тогда он сказал: — Ну, подожди, не хочешь по-хорошему? Ладно, будет по-плохому… а еще говоришь, что хочешь жить.

— А что мне говорить, я вам уже все рассказала, я еврейка, моих всех убили, а я пряталась в разбомбленных домах, на кладбище и где только могла… Я хочу жить, и пока вы меня не поймали, я была жива. А теперь вы меня расстреляете…

— И ты думаешь, тебе удастся легко умереть? Мерзавка. Мы знаем, что тебя прятал Николай Аврамов. Ну, давай рассказывай, сколько времени Аврамов тебя прятал.

Тогда я все поняла… Страх у меня прошел, я теперь думала только о Николае. Пусть теперь мучают, пусть издеваются, мне не страшно. Только бы спасти Николая. Я сделала удивленное лицо и сказала:

— Что? Какой Николай?

— Мы все знаем, он тебя прятал, волосы перекрасил и хотел отправить к партизанам. Но успокойся, мы их всех уничтожим. — Он рассмеялся.

Я заплакала:

— Я не знаю никакого Николая, а волосы мне перекрасили на Привозе. Там торгует в одной палатке баба Варя, она меня жалела, иногда давала поесть, брать к себе она боялась, выдадут соседи — меня не спасет и сама погибнет; поэтому она в палатке перекрасила мне волосы, сказала, что легче будет прятаться. Больше я ничего не знаю, я просто хочу жить, никому за свою жизнь ничего плохого не сделала, почему меня должны убить? — Он молчал. Потом сказал:

— Даю тебе еще время до утра, подумай. Я приглашу сюда Аврамова, и мы посмотрим! Что Аврамов скажет, когда ты в муках будешь умирать… Все! — Он нажал кнопку, зашел солдат. Он сказал: — Забери ее, а ты подумай, если хочешь жить.

Солдат швырнул меня опять в камеру. Мои глаза уже привыкли к темноте. Кушать нам не давали. В туалет нас всех водили в одно и то же время по расписанию, а если тебе в другое время нужно было, то они даже дверь не открывали. За это время, что я там находилась, многих забрали (но куда?), а других пригоняли… Некоторые меня жалели. Родственники арестованных через окошко бросали еду, заключенные мне тоже давали поесть. Окошко из камеры выходило на Пушкинскую улицу.

В камере среди арестованных за спекуляцию была она женщина. Ее навещали родственники, дети, муж,

сестра. А она все плакала… Румыны говорили, что она тоже еврейка и ее скоро отправят… Она все время плакала и все говорила, что она украинка и что они забрали ее паспорт: «Посмотрите на мужа, на моих детей, на мою сестру». Румыны ей отвечали: «Да, да, ты украинка, а глаза жидовские, мама, мамочка». Она говорила: «Боже, как же им доказать?» Фашисты готовы были всех уничтожить…

На следующий день утром зашел солдат и сказал мне: «Ай, репеде, репеде» («Быстрей, быстрей») — и потащил меня. Привел меня снова к этому офицеру. Там еще был один офицер и два солдата. Они меня снова посадили в это кресло. Офицер, который сидел в кресле, сказал:

— Ну, все вспомнила?

— А что мне вспоминать? Я уже вам все рассказала… Я пряталась, мерзла в этих разбомбленных домах, голодала… Я хочу пить. Я хочу жить. Почему меня, девочку-еврейку, должны убивать? За что?

— Неправда, ты не хочешь жить, если бы ты хотела, то все рассказала бы; ты не мерзла, не голодала, тебя прятал Аврамов. — И снова повторил: — Ну, раз так, мы вызвали Аврамова, пусть он смотрит, как в муках его подопечная умирает.

Он говорил это с такой злостью, сжимая кулаки; мне казалось, что он меня сейчас убьет. Зашел этот в штатском. Офицер обратился к нему:

— Кардашов, ты видишь, ну что мне с ней делать?

— Что вы с ней возитесь?

— Надо же узнать правду, а вдруг он врет и клевещет на хорошего, честного сотрудника?

Кто был этот «он»? Я не знала, кто меня выдал. Кроме Николая и Петра, меня знали еще три человека: Оля, которая меня красила, священник и фотограф. Кто из них? Николай и Петр, конечно, вне сомнений — это мои спасители!

Офицер обратился ко мне:

— Сейчас придет Аврамов. А пока мы начнем. — Я по-прежнему сидела в кресле. — Ты хочешь жить? Ну, хорошо, посмотрим, как ты хочешь жить!

Офицер что-то сказал другому офицеру. Тот подошел ко мне, велел положить руки на подлокотники, и я поняла, что они что-то со мной будут делать. Мне стало страшно, но я молчала; когда я положила руки, он мне надел на них кольца, и они прижали мои руки к креслу. Я поняла, что сейчас начнутся мои мучения. Но я знала, что сейчас вот-вот придет Николай и мне нужно терпеть и держаться до последнего. Самое страшное — это не выдать Николая, моего спасителя. И это придавало мне силы… Потом офицер, который зажал мои руки к креслу, подошел к стенке, где сидел офицер за письменным столом. Там была шкала для регулировки электрического тока, он что-то там покрутил и отошел… Офицер, который сидел за письменным столом, молчал и пристально смотрел на меня. Мне было очень страшно.., я смотрела на дверь, вот-вот она откроется и войдет Николай, и я слышала свой голос; надо, надо терпеть, надо спасти Николая. Тут я почувствовала, как стало колоть пальцы рук, ног, в ушах, глазах, все сильней и сильней, меня стало трясти; я молчала и только смотрела на дверь. Я успела еще увидеть офицера, который снова подошел к этой шкале, меня продолжало трясти… И я больше ничего не помню…

Очнулась я уже в камере, лежала я на полу, лицо и волосы были мокрыми, а вокруг были люди. Я сначала ничего не понимала… Я спросила, где я. И от сильной боли я стала понимать. Я услышала, что кто-то сказал: «Боже, она жива! Она очнулась…» Я пробыла в камере еще несколько дней. В камере жизнь продолжалась,

некоторых уводили, а новых пригоняли. Вначале мне было очень плохо, сильно болела голова и вообще все тело. Потихоньку мне становилось легче. Эту женщину, которая плакала, забрали. Но куда? Никто не знал.

Через несколько дней меня опять привели к этому офицеру:

— Ну, теперь ты расскажешь? — Я стояла на своем:

— Я никого не знаю, не надо меня убивать, я ведь никому ничего не сделала плохого. Я просто хочу жить. — Офицер рассмеялся:

— Хочешь жить? Тогда вот здесь распишись, и мы тебя не убьем. — Он придвинул мне лист бумаги. Я смотрела на этот лист, там было напечатано что-то, наверно, на румынском языке. Я сказала, что не могу прочесть. — Тебе и не надо читать. Напиши, что Николай Аврамов прятал тебя у себя дома.

— Я вам уже говорила, что я не знаю никого. И меня никто не прятал!

— Значит, не хочешь? Ну ладно, продолжим…

Ко мне подошел солдат, в руке у него было что-то черное. Он мне завязал глаза, снова посадили на кресло, стало тихо. И вдруг я почувствовала жуткую боль в руках, потом боль полилась к голове, голова стала трястись, на этот раз я уже не в силах была терпеть и стала кричать. Я услышала, как кричал офицер: «Ну, ты скажешь? Или умрешь!» Я продолжала кричать, была жуткая боль, но я сознание не теряла. Потом услышала: «Хватит, выключай…» Я продолжала кричать: «Я больше не могу, Господи, пусть меня скорей застрелят!» Офицер сказал: «Давай, уведи». Повязку с глаз они не сняли.

Меня буквально тащили волоком… Я успела услышать: «Вы видите, она никого не знает, девочке выдержать такое невозможно! Все, она мне больше не нужна, отправьте ее в гетто. Пусть там подыхает… Аврамов чист, он его окле-

ветал, он чистый, хороший сотрудник, таких у нас мало…» Несмотря на то что у меня жутко все болело, я была счастлива, Николай будет жить! Я выдержала. Солдат волочил меня по коридору до самой камеры и толкнул меня на пол. Дверь захлопнулась. Я сознание не теряла, думала о Николае… Он жив, он будет жить! Я даже сначала не чувствовала боли. Ко мне подошли заключенные, все охали, возмущались, некоторые плакали… Говорили: «Боже, ведь нас всех вызывали, но ни над кем так не издевались. Ведь она еще девочка, какая худенькая, измученная…» Один вдруг громко сказал: «Что вы говорите, ведь она еврейка, вы что, не видите, разве они люди? Их надо уничтожить». Все хором сказали: «Неправда. Она не еврейка, она же светлая». Одна женщина стала кричать: «Что вы говорите? Какая разница? У меня очень много друзей-евреев, и я не променяю их на украинцев и русских». Все хором стали кричать. Открылась дверь, и охранник стал кричать, ругаться: «Футуз, паштыля мыты», всех стал бить плеткой. И все ругался матом по-румынски… Все стихло, и он захлопнул дверь.

Прошло какое-то время, подошел ко мне один пожилой мужчина и спросил: «Болит голова?» Я ответила: «У меня все болит…» Он дал мне таблетку и сказал: «Давай, выпей, тебе станет легче». В камере стало тихо, только иногда родственники передавали еду через окошко. Я лежала на полу, свернувшись в комочек. У меня все болело… Открылась дверь, и охранник стал выпускать заключенных в туалет; когда подошла моя очередь, я не смогла встать на ноги. Ноги, руки и все тело болело и горело… Я не смогла встать. Охранник опять выругался, пнул меня ногой и повел другого в туалет. Прошло два дня, как будто меня забыли… Я все лежала на полу, свернувшись в комочек.

Ко мне подходили заключенные, что-то говорили, давали попить, поесть. Но я даже не в силах была дви-

нуться. Я лежала и молчала… На третий день зашел солдат, велел мне встать. Я пыталась, но не могла. Он кричал на меня и все ругался матом («Футуз паштыля мыты; Футуз паштыля ши бесерека мыты»), а я все лежала и молчала… Он ударил меня по голове плеткой и ушел. И так я лежала еще несколько дней, они меня не трогали, мне за это время становилось легче и легче. Я сумела встать. Этот пожилой мужчина два раза в день давал мне таблетки. И очень ласково со мной говорил… Так давно я не слышала таких человеческих слов. Прошло еще несколько дней, я смогла уже двигаться и ходить. Я теперь ждала, когда за мной придут. И вот настал этот день. Зашел солдат, и мы с ним пошли. Вышли на улицу, там нас ждала машина. Мы сели и поехали. Я знала, что он везет меня в гетто. Я ехала и представляла, как в проходной охране, как всегда, когда меня привозили после очередного побега из гетто, меня били.

Я не могла себе представить, как все это выдерживаю. Все думала: это Бог мне помогает! Но я ведь не верила в Бога… Я была пионерка. Но как я до сих пор жива? Зимой я мечтала, что настанет лето и придут наши! А тут становилось уже тепло, уже май месяц. А фашисты, звери в облике человека, не собираются уходить… Господи, когда же их прогонят? Но все же я чувствую, что кто-то сильный, большой, добрый мне помогает… Вот так, пока мы ехали, я все думала и в страхе ждала, когда солдат привезет меня в гетто. Машина остановилась. Солдат повел меня, но это было не гетто. Это было какое-то здание. Он меня повел на второй этаж, завел в кабинет, там за письменным столом сидел румынский офицер. Солдат протянул ему бумагу, он ее прочитал, что-то сказал солдату, и он повел меня вниз. Мы вышли во двор, потом спустились в подвальное помещение, прошли

длинный коридор, и в конце коридора была дверь. Солдат постучал, дверь открылась, мы вошли. У двери стояла тумбочка и два стула — это место для арестованных. Солдат что-то сказал охране (их было двое) и ушел. Солдат закрыл дверь, жестом показал мне мое место.

Это опять были сараи, только смежные три комнаты. Там также находились заключенные — мужчины и женщины разного возраста, в основном спекулянты и один вор. Среди заключенных только я одна была девочка-еврейка. Меня все спрашивали: «А тебя за что?» Я молчала. Потом спросила, где мы находимся. Женщина рассмеялась: «Что, ты не знаешь? Это шестой район полиции». Позже она сказала: «В эту комнату не заходи…» Румыны сами были жуткие воры: когда гнали этап евреев, то охрана буквально срывала с ушей серьги и с пальцев кольца. Но если им попадались воры, они арестовывали их и жутко избивали. Женщина, которая меня предупредила, чтобы я не входила в другую комнату, рассказала, что там сидит мужчина, который за воровство так избит, что страшно на него смотреть. Все лицо было опухшее, не видно лица, сплошной шрам…

Прошло несколько дней, меня никто не вызывал, и я не могла понять, почему они меня держат в полиции, а не отправляют в гетто. Этот шестой район полиции находился на Молдаванке. Недалеко была улица Градоначальнинская, там жили папины сестра с семьей и брат с семьей, но они тоже погибли. Утром нас выводили во двор для уборки квартир, где жили офицеры полиции, и столовой для солдат. Убирали двор, подъезд, и, как везде в Одессе, были вода и уборная. В обед нас обратно загоняли в подвал. Сначала охрана загоняла нас, а потом сама спускалась вниз и закрывала дверь изнутри. Так как в подвале, где мы сидели, были три смежные комнаты, то арестованные расходи-

лись по разным комнатам. Как я уже говорила, у дверей стояла тумбочка и три стула. Во время обеда нашей охране тоже приносили обед. Если после обеда оставалась еда, тот, кто успевал, получал остатки еды охраны. Так продолжалось некоторое время. За это время я успела немного отдохнуть от пыток и побоев.

Я опять стала думать, как мне убежать. Когда нас пригоняли на уборку комнат офицеров, то каждому арестованному давали свой участок работы; кто-то убирал один, а кого-то посылали вдвоем. Дом был трехэтажным, в нем находилось много солдат, а у выхода со двора, пока мы убирались, стояла охрана. И убежать было невозможно. Но когда наступал обед, все румыны уходили в столовую, а нас, как всегда, угоняли в подвал. Когда я убирала двор и подъезд, то видела, что в подъезде была парадная, которая вела на второй этаж. С другой стороны была дверь, но я ее не замечала, она была закрыта. Ворота во двор дома были всегда открыты, но выйти из них было невозможно, так как из этих ворот выходили и в них входили только румыны, и во дворе тоже были румыны. Притом с улицы рядом с воротами была дверь, которая вела в полицию, куда население Одессы приходило по разным своим вопросам, поэтому бежать из полиции было невозможно… Я поняла, что это только мечта. Но мысль о побеге, как всегда, меня не покидала.

И все же настал день, когда в очередной раз меня пригнали убирать двор и подъезд, и дверь, которая была в подъезде, оказалась открытой. Наступило время обеда; нас, как всегда, повели в подвал, по коридору слева я увидела сараи без дверей. Почему я до сих пор не обращала на них внимания, этого сказать я не могу. И вдруг как молния меня осенила мысль… Я оказалась в сарае, пока охранник стоял наверху… Я стояла, прижавшись к стене

сарая, и вся тряслась от страха. Через несколько минут я услышала, как охранник закрыл за собой дверь. О ужас, что я наделала… В голове мелькали мысли: как мне теперь быть? Постучать в камеру? Забьют до смерти. Надо бежать, десять процентов давали надежду на спасение. Господи, Господи! Что делать? Что делать? Я вся тряслась…

Постояв, я решила идти; съежившись, потихоньку добралась до лестницы, все время прислушивалась, очень страшно было выйти во двор, но идти надо… Согнувшись, не дыша, не оглядываясь, перешла через двор в подъезд; казалось, что меня сейчас, сейчас схватят… Но вот уже дверь…

Вошла в коридор, там люди, которые пришли в полицию, каждый по своим вопросам, стоят в очереди к окошечкам. А мне все казалось, что меня сейчас схватят. От страха я тоже встала в очередь; постояв немного, я вместе с людьми вышла на улицу. Вся дрожа от страха, не оглядываясь, я, как могла быстро, пошла от полиции… Шла долго и по тем местам, где меньше было народу. Ноги сильно болели. Недалеко был Дюковский парк. Я зашла и села на скамейку под дерево, вокруг были кустарники. Я старалась быть незамеченной.

В парке было мало народу. Посижу немного, похожу по улицам, потом опять иду в парк. Ночью я сидела в разбитом доме, а днем опять приходила в парк, так прошло несколько дней.

Как-то ко мне подошел мальчик, он был помоложе или ровесник, не знаю. Он спросил: «Что ты здесь сидишь? Я тебя вижу уже второй раз». Я молчала… Он сказал: «Я знаю, почему ты здесь сидишь, но меня не бойся. Подожди, я сейчас принесу тебе поесть. Я своему другу тоже помогал…» Он ушел. Я, конечно, испугалась и тоже ушла из парка. Два дня сидела в разбитом доме, боялась

выходить на улицу. Сидеть больше не смогла, опять походила по улицам, купила семечек и пошла в парк. Вдруг я увидела этого мальчика, он подбежал и спросил: «Почему ты меня не дождалась?» Я молчала. «Ты что, немая?» Он протянул мне пакет, сказал: «На, кушай. Я же тебе говорил, ты меня не бойся». Я немного успокоилась, взяла пакет, развернула. Там был хлеб и котлеты. Он мне сказал: «Завтра приходи, я опять принесу кушать». Я все молчала. Он немного еще посидел и ушел. Я снова несколько дней сидела в этом разбитом доме. Мне выходить не хотелось, очень болели ноги, и вообще не было сил ходить. Все себя спрашивала: ну вот я на свободе, ну и что? Какая это свобода? Ну что же мне делать? Мне ведь было положено умереть… Что же мне делать? Господи, Господи, что же мне делать? Мне нигде нет места… А жить очень хочется.

Я снова пошла в парк посидеть на скамейке, народу в парке почти не было. Я даже не заметила, как вдруг передо мной встал тот же мальчик. Он сказал: «Я думал, что тебя больше не увижу. Ты знаешь, я рассказал своей бабушке, она мне сказала, что помочь она тебе пока не может. У меня очень строгий отец. Вот мои родители должны скоро уехать, тогда она разрешила тебя привести». Я первый раз заговорила, сказала: «Спасибо». — «Значит, ты можешь говорить?» Я молчала, что я могла ему сказать? Мы еще немного посидели, вдруг подошла к нам женщина и сказала: «Ты что с ней сидишь?» Он ответил: «А что?» — «Я тебе сейчас покажу, что! А ну вон домой». Мне она сказала: «Ты что, еще в Одессе? Надо же, она еще жива». Мальчик взял меня за руку и сказал: «Бежим». Мы хотели убежать, он она схватила мою руку так крепко, что мне стало очень больно, и потащила меня.

Мальчик спрашивал: «Куда вы ее тащите?» — «Уходи, а то и тебя возьму». Она тащила меня и кричала:

«Сейчас ты у меня узнаешь!» Она привела меня к патрулю. Мальчик был рядом. Она, увидев патруля, сказала: «Видишь, жидовка разгуливает еще по Одессе». Патруль схватил меня за руку, подошел еще один румын, и нас обоих с мальчиком повели в шестой район полиции.

Нас привели на второй этаж в кабинет, за письменным столом сидел офицер, рядом стояли еще несколько офицеров, меня подвели к столу, а мальчик остался с патрулем у входа. Офицер с издевкой сказал: «Ты где ее прятал?» Мальчик молчал. «Тебя с ней отправить? Это мы быстро сделаем. Где ты живешь? Надо послать за отцом». Один офицер сказал: «Хорошо», кивнул головой и вышел. Я еле стояла, голова кружилась, я хотела сесть, а офицер отшвырнул стул от меня.

Я почувствовала, что падаю, и прижалась к стулу. На столе стояли бутылки с водой, я попросила попить, он открыл бутылку и медленно свысока стал наливать в стакан. Я еще раз попросила воды, он, смеясь, сказал: «Сейчас, сейчас» — и продолжал лить, пока стакан стал полным. Я протянула руку, а он, смеясь, вылил воду на пол. В это время привели отца, отец высокий, здоровый мужчина, сказал сыну: «Ты что творишь?» — и несколько раз ударил сына по голове. Мальчик молчал. Офицер сказал отцу: «Мы вашего сына отправляем с этой жидовочкой». Тогда отец стал умолять: «Я знаю, я знаю, но прошу, отдайте мне его, уверяю, он свое получит». И несколько раз опять ударил сына по голове. Тогда офицер сказал: «Забирайте, на первый раз я его отпускаю, чтобы больше ты мне не попадался». Мужчина схватил своего сына, и они быстро ушли.

Я осталась стоять у письменного стола… И сказала: «Все, я больше не могу, я сдаюсь… Сил больше нет!.. Уже стало тепло, вся надежда была на лето… Надежда! Наши придут, и это придавало силы, а теперь уже июнь

месяц, вы не собираетесь уходить… Все! Единственная просьба — не мучайте меня больше, у меня уже больше нет на это сил. Я ведь никому ничего не сделала плохого. Не мучайте, не мучайте больше меня, пожалуйста. Застрелите меня прямо сейчас здесь. Я больше не могу…»

Офицер, который немного говорил по-русски, сказал: «Не волнуйся, ты, как и все, будешь уничтожена… — и смеется. — А пока…» — и что-то сказал другому офицеру по-румынски. Румын подошел ко мне, я стояла, смотрела на него… Он толкнул меня, я не двигалась. Он со злостью еще раз толкнул меня, я не двигалась. Он со злостью еще раз толкнул и сказал: «Ай, репеде, репеде» — и потащил меня.

Мы оказались в коридоре, мне было страшно… Ведь он сейчас тащит меня в подвал, а там за побег… Я видела, как они расправлялись с тем вором. А со мной? Во-первых, я убежала, во-вторых, ведь охранника тоже, наверно, жестоко наказали, они ведь за провинность никого не жалеют, даже своих…

Я все повторяла: «Расстреляйте меня, но не мучайте, я больше не могу». Я не знала, понял ли он меня. Мы с ним постояли немного в коридоре, потом к нам подошел солдат, и они меня увели к решетке, на решетке висел большой замок, решетка была во всю ширину комнаты, где не было окон и освещения. Свет проникал немного из коридора. Солдат открыл замок, втолкнул меня в эту комнату и опять закрыл за мной решетку. Когда они ушли, я увидела в комнате много людей, мужчин и женщин, они все стояли и молчали, сесть было не на что, была жуткая тишина.

Так я простояла до вечера несколько часов, опять подошел солдат к решетке, открыл замок, велел мне выйти, повел меня по коридору, я шла и думала: сейчас они меня

расстреляют, я вся дрожала. Он привел меня к двери, завел в один из кабинетов, в кабинете никого не было. Солдат велел сесть за стол, на столе было много еды. Солдат ушел.

Я, ничего не понимая, дрожала от страха. Так прошло несколько минут, и вдруг из смежной комнаты вышел офицер. Он неплохо говорил по-русски и спросил меня: «Ты что сидишь и почему не ешь?» Я по-прежнему дрожала и молчала.

Он взял стул и подсел к столу: «Ты меня помнишь? Я тебя помню, когда тебя в феврале привели с этапом в школу, и ты говорила, что ты русская и показала документ. Ты думаешь, что я тебе поверил? Я просто тебя пожалел и отпустил. У меня у самого отец румын, а мать русская, но об этом никто не знает. Но по документам я румын, офицер румынской армии. К несчастью, идет война, поэтому я здесь. Теперь, к сожалению, я помочь тебе не могу; я знаю, что ты голодаешь. Поэтому решил тебя накормить». Я слушала его и молчала. Есть я не могла, а он все говорил: «Давай, давай, поешь, ты ведь голодная». Я немного успокоилась и поела.

Прошло какое-то время. Он нажал кнопку, зашел солдат и повел меня обратно. Уходя, я ему сказала: «Спасибо». И опять я оказалась за решеткой. Утром меня отправили в гетто. Подъезжая к гетто, я знала, что опять будут бить, но во дворе стояли коруцы (подводы), на которых сидели евреи, это был очередной этап 10 июня 1942 года.

Меня избили, потом посадили в коруцу и отправили этапом со всеми евреями. Сопровождала нас, как всегда, охрана румын. Потом я узнала, что этот этап был предпоследний. После следующего этапа гетто в Одессе не стало. Аннулировали.

Нас довезли до станции Одесса-товарная. Там нас уже погрузили в товарные вагоны, где мы стояли так тесно, как сельди в бочке. Некоторое время эшелон, набитый людьми, стоял, нам казалось это вечностью. Но пришло время, и поезд тронулся, на этом наши мучения не закончились…



Женя Кацовская перед началом войны. Детство кончилось

ЛАГЕРЬ

Было очень жарко, ведь был уже июнь месяц. Товарные вагоны так тесно были набиты людьми, что сдвинуться было невозможно, не то чтобы присесть. Люди задыхались, многие стали кричать, плакать. Так как этап наш был предпоследний, то было много бессарабских евреев и евреев из Регат (Румынии)… Ведь я уже говорила, что перед каждым этапом бригадиры (Изя и другие), кто знал румынский язык, собирали дань у евреев, то есть евреи откупались до следующего этапа. Евреи из Румынии, конечно, были богаче, чем наши евреи, при этом их меньше грабили, и поэтому они смогли дожить до конца гетто. Поэтому в нашем предпоследнем этапе было много евреев из Румынии и Бессарабии. И это было наше спасение. Они собирали опять дань, кто давал марки, кто золото, и охрана по ходу поезда открывала двери товарных вагонов на некоторое время, и нам становилось немного легче дышать. Через некоторое время опять вагоны закрывались до следующего сбора дани.

Нам румынские евреи из Регат говорили, что Гитлер обещал: если Румыния будет воевать заодно с фашистами, то он отдаст им всю Бессарабию, Одессу и Одесскую область, но воевать они должны хорошо, и ни один еврей не

должен остаться в Румынии; всех евреев Румынии нужно уничтожить.

Но Антонеску всех богатых евреев пока оставил, а бедных евреев выгонял этапами из Румынии. Но по нашим меркам бедные румынские евреи у нас считались богатыми. Поэтому они могли откупаться от этапа. Два последних этапа в основном были румынские евреи, и поэтому по ходу поезда они продолжали собирать дань и охрана периодически открывала двери товарных вагонов…

В вагонах не только ночью, но и днем было темно. По ходу поезда многим становилось плохо, они кричали, плакали и умирали, но охрана не обращала на это внимания…

В вагонах находились живые, умирающие и мертвые люди. Поезд продолжал идти. На некоторых станциях поезд останавливался, была смена караула и другое. Я все станции не помню…

Помню только станции Мало-Сиротская, Мостовая, Лидивка, потом Доманёвка. Когда поезд прибыл на станцию Мостовая, нас всех выгрузили из вагонов. Это было днем, погода была прекрасная — солнце. Эти минуты были для нас счастьем, после душегубки, где мы находились с умирающими и мертвыми людьми.

В эту минуту мы даже забыли, что нас должны уничтожить. На улице мы находились так тесно, как в вагонах, нас окружали солдаты. Присесть и попить воды нам не давали. Потом погнали нас всех: мужчин и женщин – в ров, велели сходить по нужде, первый раз за всю дорогу. Нас со всех сторон окружала охрана.

Вдруг мы услышали издалека шум, как будто бы лай собак, мы увидели целую группу немецких солдат. Они подошли к румынским патрулям, между ними завязался разговор на повышенных тонах, мы стояли и ничего не понимали.

Румынские евреи слышали этот разговор… И они нам сказали, что немцы требуют отдать им евреев. Румынская охрана возражала: «Мы не можем не подчиняться нашему начальству». Немцы ответили: «Начальство — это мы! Немцы!..»

Среди немцев были наши немцы-колонисты в форме СС. Немцы наставили на охрану ружья и велели разойтись. Потом немцы выстроили нас в ряд и пальцем указывали на евреев, тех, которые должны были пройти на пять шагов вперед. Среди этих людей были больные молодые люди, которые еле-еле держались на ногах.

Те, которые остались стоять, были в основном здоровые молодые люди и ребята. Мы не успели опомниться, как немцы расстреляли больных людей. С нашего ряда тоже ранили двух ребят. Мы хотели им помочь, но немцы тут же их застрелили. После всего этого немцы ушли. Мы продолжали стоять. Прошло немного времени, подошла к нам наша охрана румын и погнала нас опять к нашим вагонам.

В вагонах народу становилось меньше, и нам стало немного свободней. Тех, которые умерли по ходу поезда,уже не было.

Поезд немного постоял, и мы опять поехали. Ехали всю ночь. Утром поезд остановился на станции Лидивка. Опять нас выгрузили из вагонов и переместили в бараки. Два дня мы там находились.

Одна молодая женщина из Румынии подошла ко мне и сказала: «Пойдем, я договорилась с охраной, нас сейчас выпустят за бараком, можно будет попить воды». Я сидела и двигаться не могла. Она повторяла: «Пойдем, пойдем, ведь ты молодая, сколько нам пришлось пережить, нельзя сдаваться, надо постараться выжить. Тем более румын сказал: пришел приказ, что молодых пока не уби-

вать, а использовать их на работы, поэтому надо надеяться… Давай, вставай, и пойдем хотя бы попьем воды».

Охрана нас пропустила, и мы пошли за барак, где должна была быть вода. Там мы увидели большую лужу – это была вода… Мы ладошками поверх лужи собирали воду. Вот так мы напились. Прошло два дня, нас опять погнали к поезду, к нашим товарным вагонам. Нас загрузили, и мы снова поехали. К вечеру в вагонах люди почувствовали общее недомогание и сильный зуд, чесался живот, кисти рук, спина, ноги. Это было невыносимо…

Пожаловаться? Кому? Охране?.. Ведь они тут же пристрелят! Было очень тяжело… Так проехали всю ночь. Одна еврейка из Регат (Румынии) сказала: «Нас заразили чесоткой!» Мы, конечно, не знали: заразили ли нас специально или в бараках была инфекция, ведь находился там не только наш этап, но и другие этапы. Ведь мы были все очень грязные.

Стало светлеть, и эта женщина из Румынии сказала: «Если нас выпустят из вагонов живыми, тогда я попробую найти траву, которая поможет облегчить наши страдания». Ведь уже была вторая половина июня 1942 года. И действительно, на второй день после прибытия в Доманевку мне сказали, что эта женщина раздает траву, но я не в состоянии была встать, у меня очень болели ноги, я просто не могла подняться. Возле меня сидела женщина с сыном лет десяти. Она его послала, и он принес нам эту траву. Мне было так плохо, что я уже не помню, как он назвал эту траву, но мне стало намного легче.

Когда мы прибыли в Доманёвку, нас всех согнали в большое разбитое здание, там мы пробыли несколько дней; как всегда, нас не кормили, но разрешили, как в гетто, менять вещи на еду.

Крестьяне подходили, приносили пшенную и гороховую кашу, лепешки из гороха, какой-то суп, горячую воду и меняли на хорошие вещи. Евреи из Румынии,

у кого еще что-то было, меняли вещи на еду. У советских евреев, конечно, ничего не было. Для нас было счастьем, что была вода. У меня тоже ничего не было. Ко мне подходили местные крестьяне и предлагали кашу на обмен моих туфель, которые мне достал Николай. Очень хотелось поменять эти туфли. Но я не решалась их поменять…

Так прошло несколько дней. Шли всякие слухи, говорили, что нас держат здесь потому, что копают ямы для того, чтобы расстрелять всех. Ведь нас было много. Другие говорили, что нас не расстреляют, а распределят по филиалам и используют на полевые и другие работы. Доманёвка была центром. Вокруг были филиалы лагерей смерти. Я помню филиалы: Карловка, Пятихатка, Ахмачетка, Совхоз имени Фрунзе.

Евреям из Румынии было легче. Во-первых, они знали румынский язык, а во-вторых, у них были вещи, и они в гетто и здесь меняли их на еду.

Румынские евреи очень нас не любили. Они говорили: «Ах вы, жиды-коммунисты, из-за вас и мы страдаем…»

Так прошло несколько дней, все это время нас никуда не гнали, но мы каждую минуту ждали, что нас погонят к ямам… Только ночью мы, так можно сказать, немного отдыхали — что несколько часов мы будем живы. Но мы ошибались, расстреливали именно ночью. Так прошли эти несколько дней. Я продолжала натирать травой те места, где еще чесалось. На мне были эти туфли, свитер и красивое пальто, хотя было уже жарко, но все это я носила на себе, чтобы не пропало. Я хочу Вам напомнить: ведь последний раз, когда бежала из гетто, у меня был полушубок, но уже была весна, и бежать в полушубке невозможно было, сразу узнают — идет еврейка. Нужно было его бросить, но мне повезло, одна еврейка из Регат (Румынии) обменяла мою шубку на

пальто и дала еще несколько марок. Я тогда убежала последний раз из гетто. Это пальто было очень красивое, черное буклированное, спереди на пуговицах, отделанное черным каракулем на воротнике, манжетах и карманах. Вот такая я была нарядная, и волос был золотистым, ведь меня тогда перекрасил Николай. Но сама я была просто страшная, очень худая, зеленая… и казалась очень маленькой, просто заморыш. При этом мне трудно было ходить. Я не надеялась, что меня оставят в живых для работ, несмотря на то, что я была подросток. Поэтому я старалась сидеть между евреями, чтобы румыны меня не заметили. Ведь они часто ходили между рядами и выглядывали больных и расстреливали. Но меня не застрелили — это Бог спасал. Я уже писала, что за все время моих страданий я стала верить в Бога несмотря на то что я была пионеркой и нас учили, что Бога нет. Вместо Бога нам дали Сталина. Но теперь, когда я столько страдала и страдаю, и были много раз моменты, что остаться в живых было невозможно… но я пока жива… Это чудо сотворяет мой спаситель, мой Бог.

Я терпела боли и голод, но то, что надето было на мне, я не меняла на еду. Напьешься воды, и меньше хочется есть, так проходили дни.

Слухи продолжали ходить: «Нас не расстреливают, ждут комиссию для отбора на работы, остальных расстреляют, сегодня ночью поведут на расстрел, потому что во всех филиалах уже достаточно евреев и рабочая сила им уже не нужна…»

Ремесленников, строителей, маляров, швей, сапожников, поваров, кузнецов и врачей собрали в группу и увели. Их оставили в Доманёвке. Последние два дня румыны ходили по рядам и собирали истощенных и больных людей, отводили… и мы слышали стрельбу.

Ведь здание было большое. Говорили, что их всех загоняли на коруцы (подводы), расстреливали и увозили…

Настал день, когда евреев, которые остались живыми, собирали группами и угоняли… Но мы не знали, куда. Я, тоже еще живая, попала в одну из этих групп. В этой группе были Шура и ее ребенок двух с половиной лет Сёмочка. Мы сразу подружились. Нашу группу охраняли три солдата. И нас погнали из Доманёвки, но не по грейдеру, а гнали нас, назвать лесом это было нельзя, это были кустарники, деревья и кочки. Говорили, что это кратчайший путь до места назначения. Куда нас гнали, мы не знали. Шли мы долго, идти было тяжело. Потом солдаты сказали: «Привал». И мы все сели. Через некоторое время солдаты по одному человеку приказывали вставать, и его отводили в кусты, там забирали самое хорошее,что у него ещё было. С нами в основном были молодые евреи из Регат (Румынии), женщины и мужчины, у них ещё было что забрать. Солдаты заранее знали, что они будут грабить, поэтому приготовили мешки.

Настала моя очередь. У меня очень болели ноги, но я терпела боль, старалась ходить, как все. Ведь вопрос стоял так: жизнь или смерть. Я не знала ещё, зачем нас отводят в кусты. Те, которые возвращались, молчали, только у некоторых текли слёзы… Меня завели в кусты, велели отдать всё, что я имею. Я развела руки и сказала, что у меня ничего нет. Они рассвирепели, стали бить прикладами и ругались: «Футуз паштыля ши бесерека круче мыты». Потом начали меня обыскивать; когда поняли, что у меня действительно ничего нет, стали раздевать меня. Сняли пальто, беретик, свитер и мои туфли на шнурках. Все вещи почти были новые. Ещё раз ударили в спину и по голове, велели идти на место. Мне было очень больно от ударов… Но когда они меня раз-

дели, мне стало так легко. Ведь был уже июль месяц, было очень жарко, а я все эти вещи носила на себе, боялась их потерять. Вот так я осталась совсем раздетая.

Настала очередь и для Шуры. Шура встала, Сёмочка прижался к ней и начал плакать, тогда один солдат сказал что-то, и её отпустили.

Когда они всех обобрали, они велели нам встать и снова нас погнали. Мы еще долго шли. Я уже шла в чулках, у меня так болели ноги, ведь после лечения у Николая ноги все еще продолжали болеть, а тут еще неровная дорога. Последние два километра нас гнали по грейдеру. Наконец,румыны сказали, что уже пришли. Всю дорогу румынские евреи рассказывали нам, что они говорят, что нам надо спуститься с грейдера вниз, там находился Совхоз имени Фрунзе. Мы стали спускаться. Между грейдером и совхозом стоял большой колодец с бадьей. Мы стали просить, чтобы они разрешили нам напиться воды. Солдаты разрешили. Когда мы спускались вниз с грейдера к совхозу, то румынские солдаты, которые нас сопроводили из Доманёвки, ушли… А нашу группу встретили уже несколько румынских солдат и два полицая: один украинец, другой молдаванин, этот был помягче, а украинец был просто зверь. Нас повели в старое помещение для свиней, то есть в грязные свинарники. Закрыли и ушли, ничего не сказали.

Опять мы стояли так же тесно, как в товарных вагонах поезда. Шло время, за нами никто не приходил. Нам казалось, что мы там стояли уже вечность. Это было страшнее смерти…

Говорить о нашем состоянии я не буду. Мы поняли, что нас уже не выпустят и мы медленно будем умирать… Ведь недаром в Доманёвке шли слухи, что им рабочая сила уже не нужна, ее и так много…

Лучше бы нас расстреляли. Мы стояли с Шурой, очень близко прижавшись друг к другу, а между нами был Сёмочка. Семочка стал сильно плакать… Но что мы могли сделать? У Шуры еще был ребенок совсем маленький, но он зимой, когда ее гнали, умер… Семочка продолжал уже не плакать, а кричать, потом замолчал, мы думали, что он тоже умер, даже кто-то сказал: «Все — это начало». Но одна одесситка, когда нам разрешили попить воды из колодца, сумела набрать воды. Она крикнула: «У меня есть вода! Может, он еще живой..?» Но как передать, ведь свет проникал к нам только сквозь щели. Поэтому из рук в руки стали передавать воду. Когда Шура получила воду, она стала понемножку лить воду на головку и умывать его личико, я его держала и легонько била по щекам.

Слава Богу, он очнулся и оказался живой, закричал. Я его держала, а Шура по капелькам вливала ему в рот воды. Семочка выжил. Он 1939 года рождения. Жив, у него взрослые сыновья, есть внуки. Сейчас они с русской женой Ритой живут в Германии. Моя Шура в 1980 году все же погибла — выпала из такси… Вот такая смерть…

Совхоз имени Фрунзе, как я уже говорила, один из филиалов Доманёвки, лагеря смерти евреев, находился в восьми километрах от Доманёвки. Совхоз — это большое село. Там в своих хатах с большими огородами и фруктовыми деревьями жили крестьяне со своими семьями, которые работали в этом совхозе при советской власти.

Совхоз был небедный. Когда вошли фашисты, совхоз продолжал функционировать. Крестьяне как работали при советской власти, так и продолжали работать. Поля были засеяны всеми видами зерновых и овощных культур. На ферме были свинарники и коровник.

И так нас продержали двое суток, никто к нам не приходил. На третьи сутки нас выпустили… Но в этот раз все

остались живы. Нас разместили в амбары. Потом узники сказали, что они так проверяют вновь прибывших — годен ли он к работе…

В совхозе было несколько амбаров, где жили евреи из Румынии. Полицай сказал, какой должен быть у нас порядок. «Мы выбрали для вашей группы бригадира. Он будет следить за порядком, должен будет отвечать за каждого из вас. Если кто-либо нарушит приказ или не подчинится какому-либо приказу, то вы и он, который отвечает за вас, будете наказаны, получите 25 розг или будете расстреляны. Так что у нас дисциплина очень строгая. Вы молодые, и вас оставили жить для того, чтобы вы работали, так что работайте!» Полицай ушел. Наш бригадир остался. Он нас всех переписал и сказал: «Не думайте, что я хотел быть бригадиром, но нужно подчиняться, а иначе… Так, пожалуйста, слушайтесь и работайте для того, чтобы нас не наказывали. Они не шутят и за это время, что лагерь существует, многих расстреляли, а многие были избиты, кто не мог выдержать побоев и падали, были тоже расстреляны… Так что если придется получить 25 розг, вы не кричите, не стоните… терпите, иначе смерть. Не будете кричать — они могут дать меньше розг. Я тоже недавно прибыл сюда». Мы тогда от бригадира узнали, что этот лагерь смерти существует давно. «Меня первый раз назначили бригадиром. Мне, как и вам, страшно… Поэтому надо стараться беречь друг друга. Подъем в 5 утра, на завтра погонят в поле копать картошку, это по-украински «окучивать». Дадут норму, и мы ее должны выполнить хорошо, а иначе вы знаете, что будет..»

Крестьяне тоже работали на поле, окучивали картошку, но они приходили на работу в 7 часов утра, им норму не давали, и они могли брать с собой еду. Нас же не кормили. Когда им хотелось, они могли есть и отдыхать.

Нам же во все время работы разрешалось два раза в день отдыхать по пять минут. Воду привозил на поле водовоз крестьянам. Крестьяне напьются воды, наберут кувшины, и, если остается вода, водовоз дает нам по нескольку глотков попить. Но не всегда оставалась вода. А то приезжал вредный водовоз, и, даже если оставалась вода, он не давал и уезжал. Брать с собой что-либо не разрешалось.

Ведь был июль месяц, жара, открытое поле, надо было выполнить норму, а отдохнуть не давали, нас не кормили, многие не выдерживали, просто падали. В нашей группе несколько человек умерло, и после побоев не могли уже работать, их расстреливали… Я тоже два раза была избита. Но когда меня били, я не кричала. Зубами закусывала руку и терпела… Мне очень хотелось жить. И всегда мой Спаситель, мой Бог был со мной. Нас посылали на разные полевые работы: прополка кукурузы, подсолнухов. Мы собирали помидоры и укладывали в ящики, собирали арбузы. Иногда нам удавалось поесть помидоров и даже арбузов. Мы собирали копны и складывали их в скирды, убирали улицы совхоза, ухаживали за свиньями, пасли скотину. Осенью нас гнали на ферму.

В амбарах мы теребили кукурузу и насыпали в мешки; когда мешок был полный, мы должны были по узенькой лестнице без перил этот мешок поднять наверх и высыпать для сушки. Если не сможешь поднять мешок для сушки и он рассыплется, а ты упадешь, то получишь 25 розг. Мы, конечно, друг другу помогали класть мешок на спину. Это уже был конец 1942 года.

Кончились полевые работы. Настала зима. Нас гоняли на грейдер строить дорогу в Одессу. В ноябре было уже холодно. Нам давали норму, и мы, как всегда, должны были ее выполнить; нам выдавали лом, лопаты и другие инструменты.

Я была совсем раздета, босиком, все, что на мне было надето, за лето превратилось в лохмотья… И в таком состоянии зимой я должна была строить дорогу в мою Одессу. Грейдер был уже покрыт льдом. Я сняла свои рваные чулки, вложила в них солому и обмотала стопы. Так мы с Шурой работали, а Семочка оставался в лагере.

Вот теперь я это пишу и не могу себе представить, что все это могло быть… Но это все же со мной было. В таких условиях мы не простывали. Умирали, да, но не болели. Даже люди с больным сердцем выздоравливали.

Евреи из Регат были лучше одеты, они тоже работали, но наши евреи, несмотря на то что были в худших условиях, держались.

И все же Бог мне не дал погибнуть от холода. Мне опять повезло. Когда мы работали летом в поле, копали картошку, я уже говорила, что с нами рядом работали местные крестьяне. Одна крестьянка ко мне хорошо относилась, жалела, иногда давала что-то поесть и попить воды. У нее сын погиб на фронте. Я старалась ее отблагодарить: когда получалось, я пробиралась к ней потихоньку и помогала ей в огороде. В хату я не заходила, ведь я была грязная и вшивая. Нам запрещалось ходить к крестьянам домой. Нас жестоко наказывали. Могли даже застрелить. Но мы уже так привыкли к опасности, к риску, что иногда нарушали законы… Звали ее тетя Паша. Тетя Паша знала, что я хожу босиком и почти совсем раздетая и что нас гоняют в грейдер. Как-то тетя Паша зашла к нам в барак и принесла мне много тряпок, веревку, старые мужские калоши и мешок, правда, он был в некоторых местах рваный, а еще она мне потом дала иголку. Ниток даже у нее не было, поэтому тетя Паша принесла мне еще простой старый чулок, но голенища были целые…Она мне показала, как мне из этого рваного чулка

развязывать нитки. Я этими нитками зашила дырки рваного мешка. Для головы уже было вырезано отверстие.

Какое счастье! Я не знала, как отблагодарить тетю Пашу. Я просто была счастлива..! А тетя Паша смотрела на меня, и у нее просто текли слезы. Я наматывала на ноги тряпки, надевала калоши и завязывала веревкой, чтобы они не сваливались с ног. Ведь они были большие, мужские. Как говорят: «Не было гроша, а вдруг алтын». Мне Шура еще принесла старый ватник, который крестьяне выбросили. Боже, я была одета. Я не замерзну… Ноги, можно сказать, были в тепле, поверх моих лохмотьев я надевала мешок и ватник, а из тряпок, которые мне принесла тетя Паша, я выбрала большую тряпку, сложила ее вдвое, и у меня был большой цветной платок на голову.

Вы понимаете, что это значило для меня, что если нас не расстреляют, то я смогу прожить зиму и не замерзнуть. Только вши не давали покоя. В свободное время, когда было еще светло, мы сидели и давили вшей.

Мы были грязные и вшивые и не знали, когда нас расстреляют…

Слухи шли разные… Нашу группу продолжали гонять на грейдер, строить дорогу в Одессу. Всегда с нами был надсмотрщик. Охраняли нас по очереди: полицаи, бригадир, дядя Ваня и солдаты…

Но когда дежурил дядя Ваня или полицай-молдаванин, то было легче. Они не следили так за нормой и давали нам отдыхать. Раньше отпускали… Дядя Ваня нас жалел. Вот, например, зная, что мы голодаем, он летом, когда мы копали второй раз картошку, учил нас рукой накапывать одну или две картошки с куста. Он говорил: «И вы соберете немного картошки для еды, и куст будет расти. Только надо быть очень осторожным. Ведь периодически на лошади объезжает поля объездчик,

следит. Увидит — вам не поздоровится и мне попадет». Так все узники стали делать, как учил нас дядя Ваня.

У Шуры был махровый халат, летом, конечно, носить его было жарко, но когда она несла картошку, то она его надевала и под халатом прятала картошку.

Пекли мы эту картошку на улице возле барака, когда не было полицаев. Однажды Шура мне сказала: «Сегодня ты несешь картошку». Но так как я была почти раздета и спрятать картошку мне некуда было, я по нескольку картошек вложила в чулки, клала под мышки, прикрывала руками. И все же, на мое несчастье, объездчик увидел… Забрал у меня эти два чулка с картошкой. Я его стала просить не рассказывать плутонеру: «Пожалейте меня, ведь теперь меня убьют, я больше не буду…» Он ничего не ответил и уехал… Я пришла в барак. Шура это видела…стала стонать: «Боже, что будет? Я виновата». Можно сказать, что мы попрощались…

Нас ведь совсем не кормили. За два года, что мы с Шурой находились в лагере, два раза в лагерь привозили ячменную муку, и где-то около двух месяцев наши женщины пекли хлеб и варили затирку.

Хлеб нам давали по маленькому кубику. Кончалась мука, и переставали кормить…

Я продолжу: прошло около часа, как объездчик забрал картошку у меня, было тихо…Мы с Шурой подумали, что, может быть, все обойдется… Вдруг мы услышали голос полицая-молдаванина: «Вся группа евреев должна явиться и выстроиться вдоль здания, где жил наш хозяин плутонер». Все подчинились, выстроились. Тогда вышел плутонер с собакой и два солдата. Полицай-молдаванин переводил. Плутонер спросил: «Чья это картошка?» Все молчали, я тоже молчала… Он продолжал, стояла тишина… Тогда он сказал, что если никто не признается, то

каждый пятый будет расстрелян. Тогда я вышла и сказала: «Это моя картошка». Он велел всем разойтись, я осталась. Они мне дали в руку картошку. Я была уверена, что меня расстреляют. Но подъехала коруца (подвода), и полицай-молдаванин велел мне сесть в коруцу, и мы поехали…Я не понимала, куда меня везут, мы выехали на грейдер. Он меня повез от нашего лагеря налево, а Доманёвка находилась направо. Значит, он меня вез не в Доманёвку, тогда куда?

Мы долго ехали по дороге, я из одного чулка пыталась съесть картошку, я была такая голодная, что о смерти я просто забыла… Я ее начала есть, но мне стало связывать горло так, что я не смогла ее съесть. Потом я подумала, что если я покажу один чулок с картошкой, то они меня не будут бить; что они меня расстреляют, я уже не сомневалась. Я решила из одного чулка выбросить картошку, когда ее выбрасывала, мне так было больно, я так хочу кушать, а вынуждена выбрасывать картошку… Наконец, мы приехали. Я не знала, куда полицай меня привез… Потом мне сказали, что это префектура полиции.

Полицай велел мне сидеть, сам пошел во двор. Потом он вернулся, и мне велели идти за ним. Он меня привел в деревянный дом. Там сидели несколько солдат и один офицер. Я стояла перед ними маленькая, худая, грязная, босиком, в лохмотьях и держала в руках чулок с картошкой. Они на меня смотрели, что-то говорили и смеялись, а я ждала, что вот сейчас они поведут меня расстреливать. Мне уже было страшно… Я только думала: «Хотя бы они меня не били». Потом они сказали что-то полицаю, и он повел меня, это был длинный барак, туалет, там было несколько кабинок, полицай сказал: «Там убирают цыгане, давай с ними работай». Он ушел. Цыгане, когда меня увидели, стали причитать, это были цыгане из Румынии. Ведь их тоже уничтожали. Цыгане показали мне, чтобы я села.

Я сказала: «Ведь мне тоже надо убирать». Одна цыганка говорила немного по-русски, она сказала: «Сиди, бедная девочка», и прибавила: «Иш цыган, иш жидан, тоц Сарака!» Они мне не дали ничего делать… Потом их и меня повезли в большую конюшню, и они там тоже сами убирались. Одна цыганка подарила мне большую цыганскую шаль и еще сказала: «Девочка, тебе повезло, что сейчас нет префекта полиции, ведь он — садист, не расстреливает, нет, а издевается до тех пор, пока жертва не умирает…»

И снова мой Спаситель, мой Бог меня спас. Цыгане остались, а полицай велел мне снова сесть в коруцу, и с этим чулком с картошкой вернулись в лагерь. Когда я зашла в барак, то все узники стали кричать: «Боже, ты жива!» Шура обняла меня, плакала и все говорила: «Господи, господи, спасибо, она жива». Узники, кто имел печеную картошку в золе, дали мне, а один узник дал мне большой кусок макухи. Шура уже больше мне не разрешала подкапывать картошку. Цыганский платок исчез, так я и не знаю, куда он пропал.

Это я описала один из эпизодов лагерной жизни. Хочу рассказать еще об одном моем везении.

Я уже рассказывала, что к ремесленникам относились лучше. Когда мы прибыли в совхоз, то я как-то увидела старую развалившуюся хату. Я обратила внимание, что на улице была приставлена к стене хаты большая доска, и на ней было натянуто маленькими гвоздиками две шкуры заячьего меха, мездрой вверх. Мне это было очень знакомо, так скорняки набивали меховые изделия для того, чтобы их выпрямить, можно сказать, отгладить. Ведь отец мой был (я уже писала) скорняк, и я это видела, когда папа брал работу на дом, мы с мамой помогали папе сшивать шкурки. Я думала: в этой развалившейся хате уже никто не живет, но ког-

да я увидела доску с мехом, решила зайти. В хате сидел мужчина лет сорока-пятидесяти и женщина, его жена.

Плутонер, сам глава этого лагеря, дал эту хату этим людям. Этот мужчина по профессии скорняк, он нашему плутонеру шил меховые изделия. Я, когда зашла, сказала: «Я увидела доску, поэтому решила зайти, мой папа тоже по специальности меховщик, и его, раненого ополченца, повесили в Одессе на привокзальной площади, а моих родных всех убили, маму, сестричку 9 лет, бабушку, я осталась совсем одна» — и назвала фамилию. Он вскрикнул и сказал, что его хорошо знает, ведь он тоже одессит. Мы еще немного поговорили, он дал мне кусочек мамалыги, я ушла.

Это было еще летом. Я тогда Шуре рассказала о моей встрече с этим меховщиком.

Я с Шурой и всей нашей группой продолжали работать на грейдере. Мне было теплее, и для меня это было счастьем! Как-то Шура вбежала в барак, схватила Семочку, сказала мне: «Подожди, я приеду за тобой» и убежала с Семочкой на руках. Я ждала ее целый вечер и всю ночь, ничего не понимала, мне было странно, очень волновалась, ведь и так всех потеряла… Она и Семочка стали мне родными. Утром нас погнали на грейдер, там встретились с Шурой. У меня на лице был такой испуг… Шура мне сказала: «Успокойся, я тебе потом все расскажу». Я спросила: «Где Семочка?»

«Не волнуйся, все в порядке, потерпи…» Ведь когда мы работали, нам не разрешали говорить. После работы Шура сказала: «Пойдем со мной». Я не понимала, куда. Но была уже взрослая, такая энергичная и, конечно, пошла за ней, ничего не расспрашивая.

Шура привела меня к двухэтажному зданию, оказалось, это школа. Школа не работала, дети не учились. В этой школе плутонер разместил наших евреев-ремесленников,

которые ему могли быть полезны: это врачи, портные, слесари, сапожники, строители и те же евреи из Регат, которые смогли еще спрятать золотые изделия. Они покупали плутонера для того, чтобы он поселил их в лучшие условия.

Вот так я оказалась в школе. Мы поднялись на второй этаж. Шура повела меня в один из классов школы. Когда мы зашли, то я увидела много людей, которые сидели на полу. Жители этого класса стали возмущаться: «Мало того что сама с ребенком пришла, так еще и привела к нам эту несчастную. Нам и так здесь тесно…» Они шумели, а Шура молчала, я тоже молчала. Потом Шура сказала: «Все, накричалась, теперь дайте нам отдохнуть… Мы одна семья и будем вместе». Все утихли. Но только одна семья из Румынии: муж, жена и двое мальчишек, которые занимали самые лучшие места у всей центральной стены,- продолжали кричать: «Мы не разрешаем… Мы будем жаловаться». Шура ответила: «Попробуйте!» Из этой семьи никого не гоняли на работу… Что значит иметь золото…

Места, которые Шура заняла для нас, раньше занимала портниха с сыном лет семи. Детей ведь тоже гоняли в сопровождении солдата. Их работа заключалась в том, что они должны были на полях ловить хомячков. Один ребенок наливал в норку воды, а другой в конце норки держал сетку для зверьков, и они попадали в сетку. Детей в лагере было мало, так как их уничтожали в первую очередь, а так же, как всех, их не кормили, они были изможденными и умирали. Так случилось и с этим мальчиком, во время работы он умер на поле. Мать, тоже истощенная, потеряв сына, вскоре умерла… И так мы с Шурой заняли их место…

Вечером, когда стемнело, Шура принесла солому и постелила на пол. Это была наша постель. Так мы ста-

ли жить одной семьей. Конечно, в школе было намного теплее, можно сказать, что мы были в раю. Особенно после сырого барака на голой земле…Жизнь шла…

Утром нас гнали на грейдер, голодных, измученных, вшивых, но я была счастлива. Ведь я была уже не голая и босая, и с работы мы приходили не в голодный, сырой барак, а в школу, хотя она тоже не отапливалась, но ее нельзя было сравнить с бараком…

И вот как-то утром я не в состоянии была встать… Шура стала на меня кричать: «Давай, вставай!» А я, свернувшись в клубочек, лежала, и не могла встать. Шура продолжала кричать: «Ты что, хочешь, чтобы тебя пристрелили?»

Я с трудом встала и тут же опять упала. Потом мне Шура рассказала, что я потеряла сознание, и ей стало за меня страшно. Она вспомнила, что я ей говорила про скорняка, и она решила пойти к нему до работы и рассказать, чтобы он помог. «Ведь ее сегодня пристрелят, она лежит без сознания». Скорняк сказал: «Сейчас я пойду к полицаю, чтобы он доложил плутонеру, что мне срочно нужно с ним поговорить». Шура побежала обратно, боясь опоздать на работу. Когда Шура вернулась, я лежала по-прежнему без сознания, она боялась еще за Семочку. Уходя на работу, она предупредила румынских евреев, чтобы они не смели никому говорить, а иначе будут иметь дело с ней.

Потом я узнала, что скорняка зовут Соломон и он разговаривал с плутонером. Соломон подумал, что если он попросит плутонера не гонять девочку на работу, так как она заболела, то плутонер сразу пошлет полицая ее ликвидировать. А поэтому Соломон решил, что он скажет плутонеру, что есть девочка в лагере, которая знает работу скорняка, потому что ее отец был скорняком, а ему нужен помощник, и он просит дать ее помощником. Плутонер

разрешил и велел полицаю сказать нашему бригадиру, чтобы он вычеркнул меня из списка разнорабочих и записал в помощники к скорняку. Это и надо было для того чтобы меня не гнали на работу, и поэтому я смогла лежать. Потом Соломон пошел к врачам, двум сёстрам, которые тоже жили в этой школе, и просил, чтобы они посмотрели меня.

Они пришли вместе с Соломоном. Я лежала попрежнему, ничего не помню, потом мне всё это рассказали…

Врачи, посмотрев меня, сказали: «Это сыпной тиф». Соломону они сказали, что не нужно её трогать, скорее всего, она умрёт, но если выживет, значит, Бог есть на свете, пусть пожалеет её. Они все ушли. Пришла Шура с работы, ей рассказали. Шура сказала всем: «Я вам ещё раз говорю, чтобы вы все молчали, с каждым из нас может это случиться, и что, мы будем всех выдавать?!»

Сколько дней я лежала, не знаю, только меня никто не выдал… Шура мне понемножку давала водички. Состояние моё было тяжелым, особенно ночью. При том моё состояние усугублялось ещё тем, что ночью было темно и когда ночью выходили, то на меня наступали… Ведь я лежала буквально возле самых дверей. Так прошло время. Я осталась жива. Никто не заразился. Это просто чудо… Врачи (сёстры) говорили: «Понять невозможно… ведь через вшей тиф переносится. Как это понять? Невозможное – возможно…»

Когда мне стало легче, Шура у дяди Соломона взяла ножницы и остригла меня наголо…

Если бы меня не вычеркнули из списка и я бы не смогла выйти на работу, то таких сразу расстреливали, им нужна была только рабочая сила… Меня спасло то, что я была вычеркнута из списка разнорабочих и отправлена на работу к скорняку.

Когда я выздоровела, стала работать у дяди Соломона. Оказалось, что, кроме основной работы, жена Соломона давала другую, решив, что я её прислуга…

И мне пришлось выполнять все ее поручения… Я всегда носила воду с колодца, а колодец, вы уже знаете, находился высоко к грейдеру, далеко от хаты Соломона.

Конечно, ремесленники у нашего плутонера жили лучше. Они имели право ходить по всей территории совхоза, и их так не наказывали, как нас…Они даже за провинность не получали 25 розг. Нас не кормили, я уже об этом говорила. Но дядя Соломон ухитрялся исподтишка шить шапки из меха, шил крестьянам валенки. Валенки были стеганые из материала, ваты, пакли… Ведь материал крестьяне сами приносили, а платили ему картошкой, кукурузой, мукой, летом — овощами. Но все это делалось тайно…

Я работала вместе с дядей Соломоном, сшивала шкурки. Но когда он ходил за картошкой и другими продуктами, он брал меня с собой. Иногда приходилось тащить картошку и все другие продукты с фермы, а это не меньше двух километров. Кушать они мне не давали, иногда одну-две картошки и кусочек мамалыги. Только это было редко…

Но бывали дни, когда они поймали зайца… Заячье мясо его жена не ела, дядя Соломон велел это мясо потушить, и тогда мы с Соломоном наелись досыта. Но это было нечасто. А в основном мы кроме воды ничего не ели.

А вот какой случай был однажды.

Как-то Шура, это было еще летом, сказала, что двое евреев из Румынии ей рассказали, что в соседней деревне можно поесть вишню.

«Поедем!» Нам по нашему совхозу не разрешали ходить, а тут в другую деревню… Но мы тогда все были очень голодные, поэтому мы уже не чувствовали страха, если говорили, что где-то можно поесть…

Например, у нас в лагере была одна женщина с девочкой 8 лет. Женщину звали Симочка-гадалочка. Рискуя жизнью, она ходила по деревням и гадала, у нее было всего несколько карт. Гадала она крестьянам, ведь в каждой почти хате кто-нибудь был на фронте: сын, муж, брат, отец. Ей за это давали поесть и немного еды для дочери. Они ей верили, иногда отгадывала. Симочка говорила, что когда она им гадала, им становилось легче, у них появлялась надежда… Евреи ей говорили: «Как ты можешь бросать Леночку, а вдруг тебя поймают? Что будет с ребенком?» Она отвечала: «Если я не принесу Леночке поесть, то она все равно умрет, а так хоть есть надежда… Я думала, что Бог пожалеет мою доченьку».

Я еще могла бы рассказать много таких случаев… Но я продолжу. Шура меня уговорила пойти покушать вишни и с собой набрать. Я не решалась…Она уговаривала: мы пойдем, когда объездчики, наши солдаты и полицаи будут обедать, ведь они после обеда отдыхают, и мы успеем вернуться. Шура попросила дядю Ваню, чтобы он во время его дежурства разрешил нам пойти… Мы ему все рассказывали, он старался нам помочь. Я же работала у дяди Соломона, поэтому тоже могла ненадолго уйти. Я решилась, потому что отказать Шуре я не могла… Я только ее спросила: а если мы придем в деревню, всех нас там сразу поймают? Шура ответила, что она знает, ей эти мужчины все объяснили, как идти. Я бы хотела описать дорогу, по которой мы шли за вишней. Постараюсь, может, у меня получится, и вы меня поймете…

Совхоз наш был большой, надо было выйти из совхоза. Расстояние до следующей деревни было 1,5 или 2 километра. Идти надо было по сельской дороге; когда мы дошли до деревни, то дорога повернула направо. Оказалось, что в деревню не надо заходить. Перед началом де-

ревни в 3 или 4 ряда в ширину росли вишневые деревья, а в длину так получался длинный забор из вишни. Мы вошли вовнутрь, между деревьями нас не было видно, ни со стороны дороги, ни со стороны деревни, поскольку слышались голоса людей, детей. Мы стали есть вишню. Попадались и сладкие, и кислые, но мы все равно ели… Конечно, было страшно: вдруг нас увидят? Мы набрали вишни с собой… Я попросила Шуру: «Уже хватит, надо возвращаться». Шура медлила. И вдруг мы услышали топот лошадей. Когда они приблизились к нашей посадке, мы сквозь деревья увидели, что это были объездчики на лошадях. Их было трое. Они носили повязки на рукаве, поэтому их легко можно было узнать. Мы стояли буквально не дыша, боясь шелохнуться. Опять Шура нас спасла – если бы мы на несколько минут вышли раньше, то все… Мы стояли в оцепенении до тех пор, пока они не скрылись из виду и перестал слышаться топот копыт. Тогда мы вышли из этой посадки, дрожа, направились в совхоз. Слава Богу, и на этот раз обошлось. Семочка поел вишни.

Вот так мы жили… Когда мне дядя Соломон давал кусочек мамалыги или картошку, я оставляла немного Семочке. Еще несколько раз, когда жена дяди Соломона тушила заячье мясо, я была счастлива поделиться с Семочкой. К сожалению, это было очень редко. В основном мы голодали; напьешься водички, и как будто поменьше хочется кушать. Шура иногда ходила просить милостыню. Ведь у нее был Семочка, а я не могла решиться пойти с Шурой.

Но один раз Шура меня уговорила. Ходили, как я уже вам говорила, когда был обед, полицаи и солдаты отдыхали… И я решила пойти, мы пошли на окраину нашего села. Мне было так стыдно… Шура постучалась в одну хату, в другую, нам не открывали. Потом она мне показала лестницу, которая вела в дом, можно сказать, на

второй этаж. Она поднялась по этой лестнице и постучала в дверь. Я стояла внизу. Ведь это было впервые, мне было стыдно… и вдруг я вижу: дверь открылась и женщина кричит на Шуру: «Какого черта ты стучишь? Заразу распространяешь! Когда всех вас наконец уничтожат! Вон, пошла к черту, обрезанцы! Вон отсюда, обрезанцы!» И толкнула Шуру, она чуть не упала с лестницы…

Шура мне сказала: «Больше я с тобой никуда не пойду, ты просто несчастливая. Один раз взяла картошку и то попалась». Она была расстроенная и злая, мы пошли к себе. Я просила у Шуры прощения, а по щекам текли слезы. Она стала меня успокаивать и сказала: «Да ладно, ты здесь ни при чем, просто мне очень больно… Я не понимаю, за что нас так ненавидят. Что такого плохого мы сделали? Что сделал мой Семочка? И мой ребенок, который умер на моих руках. Почему мы должны так мучиться и голодать, и почему нас должны уничтожать? Почему? Почему?»

Так мы шли к себе, и она все причитала…

Мужчины мучили детей
Умно, намеренно. Умело.
Творили будничное дело.
Трудились, мучили детей.
И это каждый раз опять —
Кляня, ругались без причины…
И детям было не понять,
Чего хотят от них мужчины.
За что обидные слова,
Побои, голод, псов рычанье?
И дети думали сперва,
Что это — за непослушанье.
Они представить не могли
Того, что было всем открыто
По древней логике земли —
От взрослых дети ждут защиту.
А дни все шли, как смерть, страшны,

А дети стали образцовы.
Но их все били.
Так же. Снова.
И не снимали с них вины.
Они хватались за людей,
Они молили. И любили.
Но у мужчин идеи были.
Мужчины мучили детей.
Я жив. Дышу. Люблю людей,
Но жизнь бывает мне постыла,
Как только вспомню:
Это — было.
Мужчины мучили детей.

Это стихотворение — одного из узников концлагеря…

И наши мучения в лагере все продолжались, утром я пошла к дяде Соломону, а Шуру погнали прореживать подсолнухи и кукурузу. Как всегда, евреям давали норму, но так как подсолнухи были уже высокие и узников не было видно, то голодные евреи могли грызть семечки… Я продолжала работать у дяди Соломона, шила мех и была у них как прислуга, приносила воду из колодца, стирала, таскала с дядей Соломоном продукты и др.

У дяди Соломона была дочь, ей было 22 года, она жила в какой-то деревне, недалеко от нашего совхоза. Она была мало похожа на еврейку, круглолицая, полноватая, волосы светлые (крашеные). Жила у крестьян как их племянница, паспорт был у нее украинский. Она иногда приходила к родителям, дядя Соломон давал ей продукты. Кое-кто это знал, но ее не выдавали.

В нашем лагере находились две сестры и ребенок, оказалось, что это эвакуированные из Кишинева папины двоюродные сестры. Чем они могли мне помочь? Но все же они мне подарили полотняную рубашку на бретельках, а дядя Соломон мне покрасил

ее в черный цвет. Дочь дяди Соломона подарила мне трусы. Я была просто счастлива. Конечно, дядя Соломон жил так, что не сравнить с нашими евреями из Одессы. Его семья не голодала, они были одеты, обуты, и могли мыться. Наш плутонер разрешал ему многое…

Я уже говорила: за это время, когда мы с Шурой находились в лагере, два раза привозили ячменную муку. Бригадиры выделили несколько женщин, и они пекли хлеб. Этой муки хватало на 1,5-2 месяца, нам выдавали этот хлеб величиной с маленький кубик и один половник затирки, и так каждый день, пока не кончалась мука, а потом опять ничего.

Я еще хочу рассказать о цыганах, их тоже уничтожали; в основном, это были цыгане из Регат (Румынии).

Их домами были высокие, плетеные черные коруцы (подводы). Таборов в Румынии было много, их всех выгнали. Я приведу пример. Как-то летом мне Шура сказала, что на охрану нашего совхоза пригнали табор. Они жили там несколько дней. Шура звала меня, чтобы мы пошли посмотреть, я не пошла и ее не отговаривала. Прошло несколько дней, и мне дядя Соломон сказал: «С цыганами творится что-то жуткое, они все кричат, просто воют…» Румыны забрали все, что у них было, как у нас. Их дома — это коруца и лошади. В их плетеных коруцах было запрятано много золота, и все осталось у румын. А цыган выстроили по четыре человека и колонной погнали к грейдеру. Боже, какой же стоял вой. Их также не кормили… Как-то мне Шура рассказала, что цыган часто гонят целыми колоннами к грейдеру, и некоторые наши евреи незаметно подползут к грейдеру, и эти кубики хлеба, которые нам давали, отдают цыганам в обмен на какую-нибудь одежду…

Конечно, это был большой риск — ведь полицаи и солдаты могли застрелить, но мы так жили и постоян-

но ждали смерти, поэтому евреи ходили к грейдеру (я уже об этом говорила), когда совпадало по времени, что цыган гнали, а у полицаев и солдат был обед. Я тоже сохранила два кубика, и мы решили с Шурой ползти к грейдеру.

Шура обменяла хлеб, но я не помню, на что, а я обменяла, что хорошо помню, на шерстяной мешок, ковровый, тканый большими черными и красными квадратами. Мне даже не верилось, что я такое приобрела он был такой красивый, я его разрезала вдоль, и на одну половину я ложилась, а другой половиной укрывалась, мне казалось, что я в раю…

Так я спала больше недели… Но в этот мешок набралось столько вшей, ведь он же был шерстяной и тканый, что мне пришлось его выбросить, так он кусал…

А у цыган вшей не было. Ведь они всю жизнь кочевали, и им приходилось жить в условиях далеко не комфортных. Так почему у цыган не было вшей? Говорили, что у них есть особые мази.

Вот так наша жизнь продолжалась. Шли слухи, что скоро кончится война, что наши уже воюют на территории Германии и скоро придет наша Победа!!!

Какое счастье, скоро наши придут. Но было очень страшно, что когда фашисты будут отступать, наш лагерь, и не только наш, все лагеря будут уничтожены. Боже, как больно, нам столько пришлось пережить, и когда наша Красная армия прогонит фашистов и наступит рай на земле, нас не будет…

Мы ждали и боялись. Шел 1943 год. Румыны уже чувствовали и знали, что Гитлер, можно сказать, побежден, и поэтому они стали к нам относиться как будто лучше. Но война еще продолжалась… Это уже был конец июля месяца 1943 года…

Я говорила уже не раз, что к ремесленникам лучше относились. У нас в лагере был кузнец дядя Саша из

Одессы, он тоже материально не нуждался, как и скорняк дядя Соломон. Дядя Соломон работал на кузне, его жена была украинка, и у него было две дочери: десяти и семи лет. Сам он совсем был не похож на еврея, невысокого роста, коренастый, он жил на ферме, один, в глубоком подвале, там был коридор, потом комната с русской печкой и вторая комната, почти наверху у потолка было окошко. Летом, вы не поверите, его жена из Одессы приезжала к мужу в лагерь и привозила детей.

Дядя Саша крестьянам делал ведра, кастрюли, корыта, и еще многое; конечно,ему тоже платили продуктами. Как-то дядя Соломон мне сказал, чтобы я пошла ухаживать за детьми, потому, что дядя Саша до вечера работает в кузнице.

Дядя Соломон сказал мне: «Ты не волнуйся, наш плутонер ничего не будет знать, что ты работаешь у меня».

Я знала дядю Сашу еще раньше, когда мы только приехали. Его пригнали в начале 1942 года. Он подошел ко мне и дал кусок хлеба, сказал: «Мне так жалко детей и подростков». Расспросил меня о моих родных, я ему рассказала немного о себе. Сказала, что родилась и жила в Одессе, ул. Свердлова (Канатная), д. 75.

Он мне сказал, что тоже одессит, а вот где он жил в Одессе, я уже не помню. Дядя Саша был хороший человек, поэтому я сказала Соломону, что я его знаю и, конечно, пойду ему помочь.

Мы с дядей Соломоном пошли к нему; как я уже говорила, он жил на ферме. Когда мы пришли, то застали его жену и детей. Она очень обрадовалась: «Как хорошо, я вижу, что ты хорошая девочка, при этом Соломон хвалил тебя, и я смогу оставить своих детей. Я завтра уезжаю, переночую у одной крестьянки». В это время пришел дядя Саша и спросил: «Ты сама согласилась?»

Он мне сказал, что завтра будет готово. «Я приготовлю постель, и ты будешь жить у нас». На следующий день я пришла очень рано, дядя Саша мне все показал и ушел на работу. Я с девочками осталась. Мы быстро подружились… Дядя Саша оставил у меня продукты. Воду дядя Саша приносил сам. Детей я накормила, был хлеб, и у него даже было подсолнечное масло. Боже, неужели я держу картошку в руках и мне не дают 25 розг? Так мы начали жить, дядя Саша уходил рано на работу и поздно приходил. Девочки меня полюбили, у нас были книги, сказки, интересные рассказы, и мы со старшей дочкой читали по очереди вслух. Я на улицу не выходила, боялась, что какой-нибудь крестьянин меня выдаст. Девочки гуляли. Дядя Саша дал мне носить свои тренировочные штаны и рубаху, но я ходила босиком, то есть в его носках, обувь его была мне велика. Боже, мне не верилось, что я так живу. Ведь я была в раю и не боялась, что меня могут убить…

Был уже конец июля 1943 года. Я прожила у дяди Саши три-четыре недели.

Но счастье было коротким... Как-то днём я почувствовала какое-то недомогание, и сильно болела голова. Вечером пришёл дядя Саша, я ему подала поесть, ничего ему не сказала, но меня сильно затошнило, вырвало. Дядя Саша испугался: «Что с тобой?!»

Подошел ко мне и вскрикнул: «Боже, что ты говоришь!» У дяди Саши был термометр, ему жена привозила все необходимое. Я смотрела температуру, у меня было около 40. Он очень испугался, оставил мне все необходимое, дал мне таблетку аспирина, еще оставил мне аспирин, взял детей и ушел. Я осталась одна, кого-нибудь позвать я боялась. Во-первых, никто не придет, потому что свирепствовал брюш-

ной тиф. А, во-вторых, если узнают, могут сказать полицаю, и тогда меня пристрелят. Потом я узнала, что несколько человек в лагере заболели и их застрелили. Сколько дней я пролежала, я не знаю и не помню.

Но Шура узнала, что я там лежу и умираю. Шура решила: что будет, то и будет. У нас в лагере была одесситка Розочка лет 30-ти. Шура попросила, чтобы она пошла с ней забрать меня. Роза сначала отказывалась: «Ведь мы заразимся, а ей уже все равно не поможешь. Ну что, если мы ее принесем, ее все равно застрелят». Шура ответила: «Я попробую, может, ее спасу, а так она умрет». Уже потом мне Шура все рассказала…

И так они пришли за мной. Розочка помогла положить меня к Шуре на спину, и Шура два километра тащила меня на спине, а Розочка меня поддерживала… Так они меня привезли и положили на мое место в школе. Сама Шура побежала к дяде Соломону и все ему рассказала: «Спасите ее, только вы ее можете спасти».

Я уже говорила, что румыны все же начали к нам лучше относиться, уже не так строго. Они уже были уверены, что Гитлер проиграл войну. Поэтому они старались реабилитироваться перед всеми странами.

Я продолжу. Шура уговаривала дядю Соломона: «Ведь я два километра на спине ее тащила, и что теперь? Вы попробуете ее спасти?» Соломон сказал: «Ладно, попробую». Он обратился к полицаям, сказал им: «Заболела моя помощница». Полицаи знали, что плутонер относился к нему не так, как к узникам. И через два часа у школы, где мы жили, стояла коруца. Наш бригадир и сам полицай на руках положили меня в коруцу, и этот полицай, который вез меня на расправу за картошку, повез меня в Доманевку. Привез меня в больницу, там меня положили в палату, где лежали больные брюшным тифом.

Эти больные были местные крестьяне. Ведь я должна была от такого спасения, от такого счастья плакать от радости… Ведь я заново родилась… Так не бывает!

Быть угнанной в лагеря смерти, где смерть ходит рядом с нами, да притом тяжело больной, таких всегда расстреливают. А тут? Что это? Но я была в таком состоянии, что ничего не понимала… Наверно, я была без сознания…

В Доманевской больнице работали врачи-узники, евреи, начиная от профессоров, кончая санитарками. Я ничего не помню, может, мне давали какие-нибудь лекарства. Потом я узнала, что тиф не лечили, не знаю, как сейчас, но в войну не лечили, просто человек лежал и должен был пить воду и соки. Ведь до войны лекарств было мало, антибиотиков вообще не было, основным был аспирин, и при всех болезнях была диета, первые дни полное голодание, очистка кишечника, горчичные укутывания, камфора и кодаин, если нужно, давали подушки с кислородом. Обычно тифозным больным было очень тяжело ночью. Днем к больным местным крестьянам приходили родные с передачками. Палата находилась на первом этаже, и они через окно передавали виноград, соки. В палату никого не пускали, ведь тиф… Меня в палате очень жалели, уже поспел виноград, и больные меня угощали виноградом. Ночью нянечка отливала в бутылочку соки, брала у всех больных понемножку, и давала мне пить. Но так как ночью всем было плохо и поднималась высокая температура, все стонали, некоторым нужно было попить, некоторым нужно было судно. Я в таком же состоянии была, как они. Но зная, что они хорошо ко мне относятся и угощают меня, я, можно сказать, чудом поднималась, держась за кровати, ухаживала за ними. Вот так проходили дни, кто выписывался, а кто прибывал. Мне становилось лучше, появились какие-то силы, температура днём была почти

нормальная, голова меньше болела, конечно,ночью температура поднималась, но меньше — до 38 и 37,5 градусов. Ко мне как-то подошла нянечка, сказала: «Дай я тебя посмотрю, приподними одеяло». Я ничего не понимала, она посмотрела и ушла. Мне стало страшно… Оказалось, что весь медперсонал решил собрать марки и купить мне костюм, так как я была почти совсем раздета. Весь медперсонал, и врачи, и санитарки, не получали зарплату, но крестьяне Доманёвки и окрестных сёл обращались к врачам, сёстрам, они их лечили, и, конечно, крестьяне были им благодарны, платили марками и продуктами.

Я расскажу: ведь не только евреи-узники не имели одежды, но и крестьяне очень плохо были одеты и в магазинах ничего не было. Поэтому мастерицы вязали из пакли юбки, костюмы и продавали их на рынке, ведь ниток не было, они из пакли пряли нитки, красили их в разные цвета и вязали. Вот они решили мне купить такой костюм. Это я потом узнала, когда меня должны были выписывать, и вот настал этот день, это была не радость, ведь мне надо было вернуться обратно в лагерь смерти… А тут уже говорили: «Вот-вот наши придут». Какое счастье и одновременно страх, ведь мы знали, что когда фашисты будут отступать, лагеря уничтожают… Поэтому мне хотелось остаться в больнице. Врач сказала: «Завтра приедут за тобой». Вечером врач и сестричка принесли мне купленный на рынке костюм из пакли. Боже, он был такой красивый. Юбка была ярко-синего цвета и отделана красным цветом. Но мне не хотелось уезжать. Я всю ночь не спала… К утру мне опять стало плохо, меня всю трясло. Сестричка делала очередной обход, подошла ко мне, а меня всю трясёт. Она позвала дежурного врача, они поставили градусник и ахнули: у меня опять поднялась высокая температура. Утром ко мне подошли два врача, осмотрели меня, а по-

том нянечка мне сказала, что у меня возвратный тиф, ей очень было жалко меня, и все больные меня жалели, они велели нянечке дать мне сок. А я обрадовалась, что меня оставляют в больнице, и шептала: «Господи, господи, спасибо… спасибо, ты меня услышал, спасибо, ты меня пожалел!» И так я осталась в больнице. Я думала, что при отступлении больницу, то есть врачей и медперсонал, не тронут и я тоже спасусь. Ведь они в больнице лечили не только крестьян, но и румынских офицеров и солдат.

Я очень хотела жить!.. Если я останусь жить, я отомщу за мою маму, папу, сестричку, бабушку и за всех замученных и убитых невинных людей.

Мы давали друг другу слово, что если кто-нибудь останется в живых, то он расскажет людям всей Земли, как эти звери в облике людей творили свои чудовищные дела…

И поэтому свое слово я стараюсь выполнить… Я ведь не умею писать, но я думаю, что Бог мне помогает, и мне очень хочется, если это возможно, чтобы мы могли хоть немножко к этому прикоснуться и представить, как это было… Мне очень хочется, чтобы вам казалось, что вы присутствуете и воочию видите, что происходит…

Но… когда фашисты стали отступать, прошли карательные войска СС, и они всех евреев в лагерях смерти расстреляли — и врачи, и весь медперсонал был уничтожен. Остались в живых только те узники, которым удалось спрятаться. Но это было в марте 1944 года.

А пока еще был конец августа-начало сентября 1943 года, и меня оставили в больнице. У меня была высокая температура, и мне уже было очень плохо не только ночью… Я все время думала и шептала: «Потерпи, потерпи, но зато останешься жить…»

Время шло, и я выздоравливала, и настал день, когда меня выписали, я надела свой красивый костюм. Да,

я еще забыла сказать, что в нашу больницу приезжал водовоз — это был мальчик 16 лет, у него тоже все погибли. Одессит. Видно, ему кто-то сказал, что лежит девочка из Одессы. Его звали Георгий. Вдруг мне больные крестьяне сказали, что меня кто-то зовет. Я не поняла, ведь у меня в Доманевке никого не было. Я уже могла вставать и потихоньку подошла к окну, и увидела незнакомого мальчика. Я ему сказала: «Кто ты? Я тебя не знаю». Он ответил: «Я принес тебе постолы (это кусок свиной кожи по размеру ступни, по краям стянут кожаным шнурком, заменял обувь), я одессит, у меня тоже погибли все родные, а ты где жила? Ведь если мы выживем, то встретимся с тобой в Одессе!» Я дала свой адрес: Свердлова (Канатная), 75, кв. 18. Он сказал, что живет на Ленина (Ришельевская возле кинотеатра).

Он еще два раза приходил ко мне и рассказывал, что ему удается помогать местным крестьянам, а они его за это кормят и даже дают немного марок. Однажды он приносил мне омлет. Боже, как было вкусно. Больше я его не видела. Все же меня отправили в мой лагерь смерти, я поехала, нарядная, на мне был надет костюм и на ногах постолы.

Я приехала. Шура знала и приготовила постель — свежую солому. Шуре опять пришлось утихомирить этих румынских евреев. Они кричали: «Мы не хотим заразиться!» Шура сказала: «Вы чего кричите, скоро нас все равно убьют, наша Красная армия на подходе!»

Они кричали: «Наши румыны нас не расстреляют, как вас, жидкоммунистов». Вот такая была встреча. Первое время я у дяди Соломона сшивала мех. Он сказал своей жене, чтобы она меня никуда не посылала и чтобы я не таскала воду, не стирала.

Дядя Саша своих детей тут же отправил домой. Я не знала, как он жене сообщил, потом мне рассказали, что из

нашего села часто ездили в Одессу наши крестьяне, а он жене передавал продукты, и, конечно, они ей привезли детей. Вот видите, и так бывает, что из лагеря смерти муж жене посылает продукты и посуду (ведра, кастрюли и другое), а жена их продает. Так проходила жизнь в лагере, людей по-прежнему гнали на работу, за провинность наказывали.

Ячменная мука давно кончилась, нас не кормили… Люди голодали, от истощения и побоев умирали, а истощенных расстреливали. Но это уже не было так часто, румыны знали, что Гитлер побежден, мы это тоже знали и уже не так боялись 25 розг, как боялись карателей войска СС, при отступлении весь лагерь будет расстрелян.

Наступила зима 1944 года, года нашего освобождения, и каждый молился, чтобы остаться в живых. Но пока шла зима, и узники работали на разных работах, в том числе продолжали строить дорогу в Одессу, и по-прежнему надсмотрщики и норма…

И все же опять меня Бог спасал, я по-прежнему работала у дяди Соломона, только жена дяди Соломона не разрешала давать мне что-нибудь поесть. Дядя, крадучись, давал мне картошку и мамалыгу, но это было редко. Дядя Саша заходил к Соломону и тоже приносил мне картошки, а иногда в баночке суп. Это для меня было счастьем. Праздником.

В начале февраля 1944 года все уже знали, что фашисты отступают. Наш плутонер к концу 1943 года женился на украинке с ребенком из нашего совхоза. Свадьба была шикарная, гуляли несколько дней. Муж ее на фронте, а она вышла замуж за нашего плутонера.

Все эти годы, пока наш плутонер был начальником нашего лагеря, жила у него одна узница, молодая румынская еврейка, считалось, что она работает у него секретарем. Она была очень красивая, конечно, жила в пол-

ном достатке, ни в чем не нуждалась. Но когда к нему приезжали в гости офицеры, приезжало большое начальство, то на третье блюдо он угощал Дорой, так звали эту красивую румынскую еврейку. Шли слухи, что когда будут отступать фашисты, то он за нее поплатится. Даже офицеры и то начальство, которое у него гуляло, выдадут его, что он прятал еврейку. Он Дору застрелил. Наши офицеры и солдаты переоделись и убежали. Можно сказать, что мы были свободны от нашей охраны.

Поэтому каждый узник из лагеря смерти старался спастись. Ведь евреи знали, что через совхоз пройдут карательные войска СС, и конечно, весь лагерь будет уничтожен. Поэтому многие евреи бежали в села, вглубь, подальше от грейдера.

Симочка-гадалочка с дочкой Леночкой спаслись. Их спасла одна крестьянка из другой деревни, которой она гадала. Но она прожила недолго. Розочка осталась жива и тоже прожила недолго.

Я в то время не знала, где Шура и Семочка. Это было уже в начале марта 1944 года.

Дядя Саша зашел к Соломону, и они о чем-то говорили. Потом дядя Саша подошел ко мне и сказал: «Пойдем со мной». Я была удивлена, ведь детей он отправил. Я спросила: «Куда?» Дядя Соломон сказал, что мне нужно идти с дядей Сашей. Я пошла. Дядя Саша сказал: «Ты пойдешь ко мне, но прежде переоденешься». Он дал мне свои штаны и рубашку. Я спросила: «Зачем мне переодеваться — твой костюм весь во вшах?»

Я отошла в кусты и переоделась. Он мне велел оставить костюм, и я оставила его в кустах, но мне было очень жаль его. Когда мы шли к дяде Саше на ферму, он сказал мне, что велел девочке Лиде, чтобы она к нам тоже пришла, я постарался спасти себя и вас. Если будут уничтожать лагерь, то

ее тоже убьют, несмотря на то что у нее мама русская, что она блондинка и совсем не похожа на еврейку. А на ферме, рядом с крестьянами, мы можем спастись, наши крестьяне меня не выдадут. Когда мы пришли на ферму, то Лида была уже там. Мы спустились в так называемую хату дяди Саши. Он сказал: «Когда немцы придут на ферму, то ты поползешь на печь, и мы скажем, что там лежит бабуля, завяжешь себя платком, будешь там лежать… А мы с Лидой не похожи, при этом меня крестьяне не выдадут, я для них все делал, что бы они меня ни попросили. Они знают, что у меня жена украинка, детей моих тоже знают. Я, надеюсь, что мы спасемся». Лиде он тоже дал платье жены, свою одежду она выбросила.

В марте 1944 года при отступлении немцы шли через наш совхоз. Сначала шел обоз, на ферме поселилась армия генерала Власова — это наш советский генерал, который перешел на сторону Гитлера. Он собрал армию из военнопленных. Там были поляки, белорусы, прибалтийцы, грузины, русские, украинцы и другие.

Но Гитлер не доверял армии генерала Власова, поэтому они находились в обозе. Оружия у них не было. Оружие было только у немцев.

Немцы следили, можно сказать, были надсмотрщиками над военнопленными-солдатами. У дяди Саши тоже поселился обоз генерала Власова, среди них тоже были солдаты разных национальностей и, конечно, немцы…

Перед их приходом, как мы договорились, я полезла на печь, обмотала голову платком и закуталась в старый ватник, который дал мне дядя Саша.

Господи… Ведь не ожидали, не знали, что впереди войска у них идет обоз, и пока идут бои, обоз расселится по хатам.

Дядя Саша ведь хотел меня спрятать на случай, если карательные войска СС придут и на ферму ис-

кать евреев, а вышло, что вместо того чтобы спрятаться от фашистов, я нахожусь с ними в одной хате… Если бы мы только знали, то дядя Саша, возможно, нашел бы другое место, где меня спрятать…

Мне стало страшно… Когда они поселились,они повесили карбид на стенках вместо ламп, карбид светил круглосуточно, и было светло как днем. Ведь в этом подвальном помещении было темно, только почти у самого потолка было окошко.

Когда стало светло, они осмотрели тщательно все помещение, и когда они увидели, что на печи что-то лежит (я свернулась буквально в комочек), то дяде Саше пришлось сказать, что на печи лежит старая бабулька, и они успокоились.

Когда они выходили, Лида мне давала воды и ночной горшок дяди Сашиных детей. Но приходилось иногда терпеть… Спасибо Лидочке! А что оставалось делать? Каждый день казался годом… ведь всегда стоял вопрос жизни.

Я очень хотела жить! Так прошло три дня… Я еще очень волновалась за Шуру с Семочкой. Но еще в начале февраля 1944 года Шура мне рассказала, что она договорилась и приглядела то место, где можно будет спрятаться, когда придут немцы.

Я все время мысленно шептала: «Господи, помоги Шуре, Семочке, они должны остаться жить». Но сама не знала, что через секунду будет… Мы еще очень боялись, что меня увидят… Ведь так называемые карбидовые лампы светили как днем целыми сутками. Как-то один солдат подошел к печи и стал кричать «бабуля, бабуля» и совать мне еду. Дядя Саша стал говорить: «Не трогай ее, ведь она старенькая, пусть спит». Солдат еще покричал и ушел. На другой день он опять звал «бабуля, бабуля». Я молчала. Он дяде Саше сказал по-польски: «Может, она заболела?

Почему молчит?» Мне было очень страшно, ведь в комнате светло. Через 10 – 20 минут немец встал на табуретку, включил батарейку и направил ее на меня, стал кричать, стал меня тащить, мне пришлось спуститься.

Потом дядя Саша сказал: «Я был уверен, что нам капут — нас расстреляют, даже за то, что мы прячем еврейку». Немец снял платок и, когда увидел меня, стал смеяться. Все солдаты, конечно, тоже смеялись, хлопали в ладоши и все приговаривали: «бабуля, бабуля». Я стояла оцепенев. Один русский сказал: «Не бойся, они тебя не тронут, не то время, они сами проклинают Гитлера».

Я заплакала, нет, у меня просто текли слезы… Дядя Саша и Лида ушли в другую комнату.

Немцы на меня долго смотрели, а я стояла и была уверена, что это все, это конец…

Мне не было страшно, мне было только очень обидно: вот-вот придут русские… Но я стояла, а он один все на меня смотрел, солдаты притихли.

Он стоял напротив меня и все смотрел, смотрел… Мне казалось, что прошла вечность… Я только думала: скорей, скорей, что он медлит… И вдруг он надел на меня немецкий тулуп, кипенно белый, и солдатскую шапку, на ногах у меня были постолы, хотя они уже были с дырками.

Он дал мне два ведра и велел принести воды. Мне пришлось идти. Я пошла к колодцу. Ведь от фермы до колодца больше двух километров. Между фермой и совхозом был лесок. Когда я проходила по дороге, я увидела немецких солдат и оружие; слышала стрельбу, но продолжала идти, на меня никто не обращал внимания. Когда я шла по совхозу, заметила, что никого нет, а когда поднималась к колодцу, увидела на грейдере нашу армию, шла перестрелка…

А я одна с ведрами, и больше никого…

Набрала воды, пошла обратно… Ни о чем не думала…

страх пропал… Шла и несла воду, не понимая, что происходит…

Ладно, я шла мимо немцев, одетая в немецкий тулуп и солдатскую шапку, но когда я набирала воду из колодца, меня очень хорошо было видно с грейдера в немецкой шубе, почему они меня не застрелили? До сих пор не могу понять, мне говорили, что они меня разглядели в бинокль… Не знаю… Я принесла два ведра воды, конечно, не полных, по дороге вода немного разлилась. Когда пришла, власовцы встретили меня с криком, они хлопали в ладоши, а другие хлопали по плечу… Я стояла и не понимала, что происходит.

Власовцы забрали у меня ведра, а я все стояла… Подошел немец, который меня одевал, стал что-то нашептывать и креститься. Я продолжала стоять в оцепенении, он велел снять тулуп, я сняла тулуп и шапку.

Немец велел мне сесть. Я села на табуретку, сидела, а они о чем-то говорили, я ничего не слышала. Дядя Саша потом рассказывал, что он подумал, я потеряла рассудок и что власовец-латыш перевел ему, что сказал немец. Немец сказал: «Я ее хотел застрелить, а потом решил, что пользы от нее будет больше, если ее пошлю набрать воды. Если ее не расстреляют, то она принесет нам воды, а застрелить я ее всегда успею. Но теперь я понял, что если она пришла живая и принесла воды… то это значит Богу так угодно… Поэтому она должна жить». Подошел ко мне и стал креститься, что-то шептал и протянул мне плитку шоколада.

Я сидела, не могла двигаться, он шоколад положил мне на колени, что-то шептал и крестился. Я еще долго сидела и молчала, а вокруг была тишина…

Дядя Саша поднял меня и повел в другую комнату, дал мне горячей воды, и только тогда, когда я пила воду, у меня потекли слезы… Дядя Саша сказал Лиде: «Слава Богу, она ожила!»

Я хочу еще рассказать, как Гитлер обеспечивал свою армию: и одеждой, и едой, и даже солдаты армии генерала Власова имели полный набор продуктов (как у нас теперь говорят, продовольственную корзину).

Я сама видела, когда они садились есть, у них были несколько пластмассовых емкостей с закручивающимися крышками, в которых были продукты: шоколадное масло, сыры, прессованная ветчина, какао, плитки шоколада и другое… Были термосы для воды и горячих блюд. У нас до войны такой емкости с закручивающимися крышками не было.

Сравнить с питанием наших солдат это невозможно… Но советская Красная Армия, наш народ всех национальностей выстоял, победил. Нет величия без простоты, добра и правды, писал Лев Толстой.

Так продолжалось еще несколько дней. На грейдере наши, внизу — немцы.

Я старалась меньше попадаться немцам на глаза. Больше находилась во второй комнате. В совхоз ночью сначала вошла наша разведка, нам потом рассказали наши солдаты, что в селе мало оказалось немецких войск, и они, конечно, с боем вошли в село раньше, чем ожидали.

Карательные войска СС прошли через наш совхоз, долго не задерживаясь, но времени было достаточно, чтобы уничтожить лагерь евреев. Нам рассказали крестьяне, что когда каратели вошли, то стали искать румынское начальство, но они все разбежались… Тогда они стали ходить по крестьянским хатам. Немцы направляли на людей оружие, спрашивали: «Юде, юде?» И конечно, им показывали лагеря евреев. Я уже говорила, что евреи, которые смогли убежать, спрятаться, остались в живых. Остальные остались на своих местах, они говорили: «Вот видите, наша охрана уже убежала, немцы находятся в совхозе, нас не трогают.

Им сейчас не до нас… Вот придут наши… мы их дождемся, мы будем жить! А если пустимся в дорогу, неизвестно, что тогда может быть. Еще день, два, и будем совсем свободны! Тогда пойдем по своим домам, а сейчас лучше не двигаться!» Но, к сожалению, их всех расстреляли…

Я и Лида продолжали жить у дяди Саши. На нашей ферме в каждой хате находились власовцы, дядя Саша говорил: видите, уже несколько дней живут у нас власовцы, а соседи нас не выдают.

Мы считали не только дни и ночи, но часы и минуты… Уже конец марта, я говорила, что ночью 28 марта 1944 года наша разведка вошла в совхоз, убедившись, что немецкое войско намного меньше, чем наше. Красная Армия на рассвете вошла в совхоз. На ферме тоже по приказу отступать власовцы ушли, вернее, бежали ночью…

В этой суете я сумела пробраться наверх и спрятаться в кустах, ведь до последней минуты, пока не пришли наши, смерть ходила рядом. Кто знал, что они еще могут сделать с тобой в последние минуты.

Утром 28 марта 1944 года фашистов уже не было! Боже, мы живы, мы свободны!!!

И вдруг мы увидели двух солдат генерала Власова, это были поляк и белорус. Они сказали: «Мы остались, а там пусть разбираются. Мы не стреляли, мы не убивали, у нас даже не было оружия, мы находились в обозе, мы ведь пленные и думали: если завербуемся, то нам, может быть, удастся перейти к нашим… вот мы и остались!»

Господи, Господи, ведь можно миллион раз говорить, что мы свободны! мы свободны! Свобода! Мы заново родились! 22 июня 1941 года, в воскресенье, Гитлер вероломно напал на нас, на Советский Союз.

16 октября 1941 года он оккупировал Одессу, и только 28 марта 1944 года мы, жертвы холокоста, получили свободу!

ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ

Дядя Саша подошел к Лиде и ко мне, сказал: «Девочки, у вас какая-то одежда осталась в лагере, а то у нас с женой почти ничего нет из одежды, ведь моя жена все, что можно было, продавала?» Лида ответила: «Ведь все, что было на нас, вы велели выбросить». Я сказала: «Лида, пойдем, у меня остался мешок и рубашка черная, и если я найду Шуру, то мы что-то придумаем». Мы дядю Сашу успокоили, сказали, что постараемся переодеться и вещи ему принесем. Мы с Лидой пошли в совхоз. Я нашла Шуру с Семочкой. Они прятались, где она раньше мне говорила. Это было такое счастье! Евреи, которые сумели спрятаться, все вышли из своих нор… Мы радовались, обнимались! Мы не верили в свою свободу! Мы не верили, что мы живы! Невозможно рассказать, ни написать, ни экранизировать… И сколько бы ни говорили, ни писали всю картину страданий людей, невозможно передать… И вот свобода! И вот мы живы!!!



Илья Кацовский — мой муж, окончил академию. 1954 год

Мы не верили, что это чудовище сбежало. И не только мы, но крестьяне, жители совхоза говорили: «Все страдания позади, теперь настанет счастье, мир, рай на Земле!» Да, так говорили, так вся наша страна думала и верила!!!

Несмотря на то что война еще не кончилась, но все люди нашей советской Родины верили, что Гитлер будет окончательно уничтожен. Вот-вот закончится война.

И никто, ни один человек нашей необъятной Родины не мог подумать, что появятся в нашей стране неофашисты и будут даже отмечать день рождения Гитлера. Господи, что это значит? Господи, что это значит?



Женя Кацовская после войны. 1947 год

Но пока мы все ликовали. Я Шуру спросила: «Что нам делать? Дядя Саша, когда нас спрятал, велел нашу одежду выбросить и дал нам все, что ты видишь на нас, и теперь просит, чтобы мы переоделись и вернули ему одежду».

Мы пошли в лагерь, я нашла свой мешок и черную рубашку. Я надела мешок, а Лиде дала рубашку. Шура нам сказала: «Вот видите, все мои вещи превратились в лохмотья, остался один махровый халат», она его надела, а у Семочки даже трусиков не было… Она завернула его тряпкой, вместо трусов, а на нем была рваная рубашечка. У Шуры нашлась еще кофточка вся в дырах, она дала ее Лиде. Вот так мы оделись и были готовы идти в Одессу, но в Одессе были еще фашисты. В лагере было много убитых, в том числе та румынская семья евреев, которая находилась с нами…

Мы могли найти среди расстрелянных какие-то вещи, но мы не посмели это сделать…

Потом мы пошли к дяде Саше и вернули ему его вещи… Дядя Саша сказал нам, что останется в совхозе и по-прежнему будет работать в кузнице, потому что здесь он может заработать, приедет жена с детьми, и они смогут как-нибудь прокормиться. А в Одессе первое время просто будут голодать.

Лида сказала, что она хотела просто остаться в совхозе, постараться найти работу в совхозе, в Одессу ей пока идти некуда, квартиру забрали, там уже живут люди, вот придет время, и тогда приедет в Одессу, будет искать папу, надеется, что он с фронта придет живой, это было бы счастье.

Я подумала, что, может, мама с сестричкой тоже остались живыми… хотя чувствовала, что их уже нет… Как же мне было горько, сердце сжималось, у меня текли слезы…

Лида осталась у дяди Саши. Я пошла в совхоз. Мы еще три дня с Шурой и Семочкой находились в совхозе. Евреев, которые остались живыми, наши солдаты кормили, дали пшенную кашу, щи. Нам не верилось, что нас кормят. На третий день мы пустились в дорогу, шли по грейдеру в Одессу, зная, что пока мы дойдем до Одессы, Одесса будет наша. Мы прошли с Шурой и Семочкой 20 километров, конечно, отдыхали, ночами было холодно, но что делать. Когда мы шли по грейдеру, увидели наших узников, они сказали, что получили справки, что были в лагере у фашистов. Боже, что же нам делать? Мы ведь столько прошли с ребёнком, теперь придется вернуться назад. Шура сказала: «Надо, конечно, пойти за справками, но мы не выдержим, поэтому мы будем заходить в деревни и отдыхать, может, кто-то нас накормит, ведь уже нет фашистов, теперь нам не откажут… «Так мы и сделали, нас в деревнях хорошо встречали, мы даже на это не рас-

считывали, Семочке дали рубашечку и трусики, так мы обратно вернулись в совхоз. Получили справки. Нам солдаты сказали: «Зачем вы идёте пешком, ведь по грейдеру идут машины, проголосуйте, и вас подвезут». Я сказала солдату: «Ой, спасибо, спасибо, мы раньше не догадались».

Переночевали в совхозе, а утром опять пошли в Одессу. Мы шли и голосовали, но ни одна машина не остановилась. Вечером мы вошли в деревню, крестьяне к нам относились хорошо, и иногда мы заставали наших солдат.

Как-то мы сказали хозяину, что с ребенком очень трудно идти, мы старались голосовать, но машины не останавливаются, хозяин улыбнулся и сказал: «Подождите», принёс нам две бутылки с водой и говорит: «Когда вы будете голосовать, поднимите бутылки, они подумают, что это водка, и остановятся». Так мы и сделали. Обычно в машинах кузова были набиты солдатами, а тут нам повезло: машина остановилась, и мы сели, кузов был пустой, только мы боялись, что он спросит бутылки, но он поехал, и когда нас высадил, ничего не спросил, видимо, он понял по нашему виду, кто мы. Так мы добрались до Одессы, и оказалось, что ещё бои, Одесса ещё не освобождена. Когда нас шофёр высадил, мы оказались среди солдат. У Одессы стояла в/ч 15938 – 3261, сортировочный эвакогоспиталь 3-го Украинского фронта. Я не знаю, ведь я столько шла, а тут что-то со мной случилось, я не могла стоять на ногах, хотела сесть, но упала, не помню, что было дальше…

Опомнилась, когда меня на носилках положили в машину… Была я одна, Шуры и Сёмочки возле меня не было. Врачи мне старались помочь, я их спрашивала: что со мной? Ведь столько пришлось выдержать и дойти до Одессы, а тут я упала… Они мне ответили: «У тебя в тяжёлой форме дистрофия, и тебя нужно обследовать… И то, что тебе пришлось пережить, и ты не сдалась. Это сильное же-

лание жить. Весь организм, и твоя нервная система собралась в кулак, и не сдалась, ну а теперь ты на свободе, и ты расслабилась!!! Но ничего, мы тебе поможем, подлечим, всё будет хорошо. Главное, ты жива… Конечно, все эти ужасы и страдания ты не забудешь, это нельзя забывать, но ты молодая, и вся жизнь впереди… Выйдешь замуж, родишь детей, им расскажешь всё о Великой Отечественной войне, и о себе, и о близких тебе родных, и о миллионах людей, которые безвинно были уничтожены. Но пока идёт война, мы знаем, что Победа будет за нами!!! Осталось ещё немножко, ещё чуть-чуть, и наступит Рай, да, Рай на земле. Победив фашистов, наш народ Советского Союза и люди всей Земли сплотятся вместе, и мы будем жить счастливо. Люди всей Земли не допустят фашизма… Наши войска освободили Одессу 10 апреля 1944 года.

В эвакогоспитале ко мне относились очень хорошо, лечили и давали понемножку есть. Хлеб я не получала, так как на довольствие не могли меня поставить, ведь я не была зачислена в состав штата эвакогоспиталя.

Я очень волновалась, не зная, где Шура и Семочка, точный адрес Шуры в Одессе я не помнила. Я только знала, что она жила в новых домах на улице Чкалова (Большая Арнаутская), угол Белинского. Ходить и искать по этим домам для меня было ещё очень тяжело… Я не знала, что делать. Я надеялась, что если я не смогу её найти, то, наверно, она сама найдёт меня, ведь я ей сказала точный адрес: ул. Свердлова (Канатная), д. 75, кв. 18, я там родилась и жила с родными и сестричкой, пока 17 октября 1941 года нас не выгнали фашисты из наших квартир.

Я решила встретиться с Аней Долговой и её мамой, мне очень хотелось,чтобы они узнали, что я жива. Несмотря на запрет врачей я крадучись надела халат медсестры и ближе к вечеру сумела уйти из госпиталя. Ког-

да я пришла к Анне, мать схватилась за сердце и плача кричала: «Господи, господи! Ведь она жива! Она жива!» И много раз повторяла: жива, жива! Потом они увидели на мне медицинский халат и удивились: «Что это?» Я им всё рассказала о себе… Анина мама велела мне снять мешок и сказала: «Я его сожгу». Она меня искупала и дала мне надеть Анину юбку и кофту, подарила ещё мне тапочки на резиновой подошве. Кушать я не хотела, только попросила кусочек хлеба… ведь я его эти годы не ела… Мы ещё немного поговорили. Я завернула в газету халат и, можно сказать, впервые за много лет почувствовала себя человеком! Аня Долгова жила в одном доме с Бетей и Лилей, и мы почти всегда были вместе. Лиля и Бетя эвакуировались, а Аня — русская, и её мама, сколько могла, помогала евреям. При фашистах Аня училась в Одессе в медицинском училище и окончила его, стала фельдшером. Отец Ани погиб на фронте. После освобождения Одессы фашисты решили снова взять Одессу, они буквально озверели. Ведь Гитлер обещал Антонеску отдать Бессарабию, Одессу, всю Одесскую область румынам, но они должны были воевать, быть преданными Гитлеру и ни один еврей не должен был остаться в Румынии живым. Но Антонеску всех богатых евреев оставил в Румынии, бедных евреев и цыган выгнал на Украину. Но румынские бедные евреи, по сравнению с нашими, считались богатыми. Шли бои, Одессу снова бомбили, всё время приходилось с поля боя принимать раненых солдат. По 8 – 10 суток весь медперсонал эвакогоспиталя не выходя спасал раненых солдат.

Мне уже стало легче, мне сестричка сказала, что мне делают лекарство для успокоения нервной системы, ногам тоже стало легче, и как только я немножко окрепла, я стала работать наравне со всеми.

Эвакогоспиталь стоял в здании бывшего сельскохозяйственного института на улице Чижикова, а мой дом, где я жила с родными, находился на улице Свердлова (Канатная), угол Чижикова, д. 75, кв. 18, недалеко от эвакогоспиталя.

Пол большого вестибюля эвакогоспиталя был полностью занят носилками с ранеными солдатами. Сначала каждого солдата регистрировали, потом сразу кого на операцию, других, кто в состоянии был, стригли, купали, одевали в чистое бельё, и двое на носилках поднимали на второй, третий этаж, конечно, было тяжело, притом ведь солдат раненый; но зная, что это наши солдаты и мы им помогаем, я не чувствовала, что мне тяжело, и носили мы их с осторожностью, делали перевязки, и в палату. А уже потом отправляли по госпиталям в тыл. У нас при регистрации солдат иногда возникали сложности, много было солдат разных национальностей, которые плохо знали или вообще не знали русский язык. У некоторых национальностей не было отчества, подходишь регистрировать, он кричит, гонит тебя: «Моя твоя не понимает!» Приходилось долго на коленях у носилок стоять уговаривать, а он ведь раненый, жалко, иногда не уговоришь… Думаешь, подойду попозже… Ведь раненых много… А когда возвращаешься, подходишь к нему, а он мертв, а я в ужасе, так и не знаешь, кто он.

Целыми сутками приносили раненых с поля боя, и так по 10 суток весь медперсонал работал в госпитале. Иногда не хватало места в вестибюле, тогда раненые лежали во дворе. Когда же наступало затишье, мы это время использовали: скручивали стираные бинты, подготавливали для прибытия следующих раненых, так как бинтов новых было очень мало, чистили стираное бельё солдат от гнид для того, чтобы снова надеть новым прибывшим раненым солдатам. Всё это было ещё

в Одессе. Но как ни старались фашисты и бандит Антонеску, но мою родную Одессу им никогда не занять!

Я ещё хочу рассказать: когда немцы отступали из Одессы, они заминировали вокзал и городской Театр оперы и балета, и многое другое. Вокзал был взорван. А городской театр, говорили, спас один пожилой одессит. Я, конечно, не знаю, кто его спас! Но мой любимый городской театр по сей день здравствует!!!

После взятия нашими войсками 3-го Украинского фронта Одессы у центрального входа в театр висела большая медаль, висела она очень долго. Вокзал заново отстроили, и по сей день стоит! Наш городской театр строил тот же архитектор, что и в Вене! Эти два театра считались лучшими в мире.

После взятия Одессы висели большие плакаты, где было написано, что в Одессе было уничтожено фашистами 200100 евреев, но было уничтожено намного больше, ведь бессарабских и румынских евреев не учитывали. Живых осталось в Одессе около 300 человек.

Я подала заявление: прошу зачислить меня добровольно в состав в/ч 15938 сортировочного эвакогоспиталя № 3261 3-го Украинского фронта. Ведь в Одессе у меня никого из родных не осталось в живых, кто погиб на фронте, кто был уничтожен фашистами. Эвакогоспиталь стал моим родным домом. А главное, я хотела помочь нашим раненым солдатам, и тем самым отблагодарить их за наше спасение. Ведь они, наши солдаты Красной Армии, освободили нас от звериного фашизма, и не только нашу Родину, весь Советский Союз, но и всю нашу землю от чумы XX века.

Для того чтобы приняли в сортировочный эвакогоспиталь, нужно было разрешение начальника госпиталя, но, учитывая мою биографию, начальник дал согласие.

Но нужны были соответствующие документы: паспорт, справка медкомиссии. У меня ничего не было. Паспорта у меня до Великой Отечественной войны не было. Для получения паспорта нужно иметь метрику (свидетельство о рождении). Я не знала, куда мама спрятала документы. Наверно, документы наши и метрики были при маме, но её убили вместе с моей сестричкой Адочкой 9 лет.

Для того чтобы получить паспорт, у меня никаких документов не было, была только единственная справочка, что я находилась в лагерях смерти в Доманёвском районе. С этой справкой я пошла в паспортный стол, и на основании этой справки мне выдали паспорт.

Паспорта выдавали на три года, но так как мы были в оккупации, и несмотря на то что мы находились в лагерях смерти, в неволе, паспорта нам выдавали на один год… Выходит, что нам не доверяли… Очень было больно и обидно… Но что поделаешь?

Я предоставила свой паспорт и все остальные документы в эвакогоспиталь, паспорт они оставили, а мне выдали справку, что я зачислена в в/ч 15938 в состав сортировочного эвакогоспиталя 3261 3-го Украинского фронта с 1 июля 1944 года, справка по сей день у меня есть и документы из Центрального архива Министерства обороны СССР. Наш госпиталь № 3261 входил в состав действующей армии по 9 мая 1945 года. Получив паспорт, я пошла в Кагановичский райисполком и написала заявление, что я осталась совсем одна, всех моих родных уничтожил Гитлер, прошу мне выдать ордер на квартиру моих родных и мою, где я родилась и жила с родными до 17 октября 1941 года, пока нас не выгнали фашисты… На основании этого заявления и на основании документа, что я служу в в/ч 15938 в эвакогоспитале 3261, мне выдали ордер. У нас была трёхкомнатная квартира; когда в госпитале было

затишье, я приходила ночевать домой. Мне кое-что вернули из вещей, моя мама нескольким соседям отдала на хранение очень много вещей: пианино, трюмо высокое в раме чёрного дерева, китайский фарфоровый ночник старинный, очень красивый, швейную машинку, фарфоровую посуду, шубы и многое другое. Наш диван кожаный, старинный с тумбами я нашла, но кожа была вся содрана. Я очень обрадовалась, взяла одно сиденье, сиденье было крепкое, мне, конечно, помогли, мы его принесли домой, пружины были в целости, покрывали его соломой и накрыли мешками, прибили гвоздиками, мешки мне дал сосед. Так у меня появилась постель. Мне понемногу соседи стали приносить кто что мог. В госпитале сестра-хозяйка дала подушку, одеяло, несколько простыней, вот теперь я уже богатая невеста…

Меня поставили на довольствие, стала получать 0,5 кг хлеба, но вначале мне не хватало, я почти за завтраком его весь съедала. Получила зарплату, зарплата была небольшая.

Хлеб и продукты в магазинах за деньги не продавали. Ведь была карточная система. Карточки давали норму на хлеб, на продукты работающим, а иждивенцам давали меньше. Но я карточки не получала, так как стояла на довольствии в воинской части. К нам иногда приезжала палатка с вещами, но выдавали только одну вещь и строго по списку. Меня в списке на вещи не оказалась, я решила обратиться к коменданту, комендатура находилась в нашем доме, Канатная, дом 75. Комендант очень хорошо относился ко мне, жалел. Иногда патрули — лейтенант с солдатами — обходили город (особенно ночью), заходили на хлебозавод, и им давали горячий хлеб белый, и комендант велел им носить мне хлебушка. Правда, белый хлеб, не знаю, для кого они его пекли. Ведь по карточкам

отпускали чёрный хлеб-кирпичик. Поэтому, зная хорошее отношение коменданта ко мне, я обратилась к нему насчет вещей, и он возмутился, сказал: «Пойду к начальнику госпиталя, ведь как не тебе нужно дать? Говори, что тебе надо». Так как давали по одной вещи, я сказала: «Мне нужны туфельки». Комендант обратился к начальнику госпиталя, тот велел внести меня в список. Вы себе представляете? Мне продали серые парусиновые полуботиночки на шнурочках. Боже, как я радовалась!!! Вот так умел наш народ, наше поколение радоваться и всё ценить… Туфельки были на маленьком каблучке. Ведь я впервые надела на каблучке туфли. До войны я каблучок ещё не носила.

Я два раза ходила на улицу Чкалова (Большая Арнаутская), угол Белинского, к новым домам, где до войны жила Шура, надеясь их там найти. Но много домов в этом большом дворе было разбито фугасными бомбами фашистов. Я прошлась по домам, расспрашивала жильцов уцелевших домов, но никто их не знал. Единственная надежда, что Шура найдет меня…. И действительно, в июле месяце 1944 года Шура пришла в госпиталь. Слава Богу, Шура меня нашла. Я ей рассказала, что её искала, но никто не знал из жильцов ее имя и фамилию. Шура мне сказала, что когда меня унесли, то ей не разрешили пойти со мной. «Но так как я знала твой адрес, я решила, что тебя найду. Надеялась, что теперь с тобой ничего не случится… и мы встретимся! Я несколько раз приходила к тебе во двор, но мне никто ничего не сказал, и всё же я узнала, что ты служишь в госпитале, который находится в здании Сельскохозяйственного института, и вот я здесь! Теперь я тебе расскажу, что было с нами. Пришла домой, а в наш дом попала фугасная бомба, я ни одного соседа нашего дома не нашла. На улице ко мне подошла пожилая женщина, украинка, заплакала; говорит: «Вижу, что ты сберегла

своё дитя, вы живы, и слава Богу, а мои два сынка погибли на фронте, проклятый фашист забрал моих сыновей, и теперь я одна, а ты где живешь? Шура ответила, что её дома уже нет, а муж тоже погиб на фронте. «Куда же ты пойдёшь?» Шура сказала: «Не знаю». «Ладно, пошли…»

И она привела нас к себе домой, накормила пшённой кашей, хлеба у нее тоже не было. «Вы переночуйте у меня, завтра пойдёшь искать себе квартиру. Ходи по улицам, заходи в каждый дом, может быть, найдёшь ещё какую-нибудь квартиру. Ведь квартир было очень много свободных от эвакуированных и квартир евреев, ведь всех евреев повыгоняли из Одессы, а квартиры остались. Из сёл, деревень ещё при румынах приезжали крестьяне, давали управдому и дворнику марки, и они их вселяли в свободные квартиры. Но ты походи по улицам, может быть, ещё найдёшь квартиру, конечно, хорошие квартиры уже все заняты, но ты всё равно ищи…» Утром я взяла Семочку, а баба Саша предложила оставить Семочку: что ты с ним будешь по улицам ходить!

Я так и сделала, два дня ходила по городу, везде всё было занято, на третий день на улице Чкалова (Большая Арнаутская), д. 24, нашла полуподвальную квартиру, из которой были выгнаны евреи… Окна наравне с землёй, но уютная, чистая, с мебелью, вход в парадную и вниз три ступеньки, коридор, большая комната 20 кв. метров, два окна и большая кухня 16 кв. метров с окном, светлая, солнечная. Мы поселились, получили уже ордер. Встретила своего двоюродного брата, живёт на углу Пушкинской и Кирова (Базарной). Они мне помогают, обещали устроить на швейную фабрику швеёй. Вот так мы встретились с Шурой, мы родные люди, и мы не одиноки. Мы вместе!!! Шура устроилась на швейную фабрику. Семочку она на первое время отдала в интернат. Но Великая Отечественная война продолжалась. Но мы нашу

Родину освободили от этих гадов, от фашистов и уже воюем на территории врагов и гоним гадов до полной Победы!

Ура! Ура! Выжили! Мы победили!

9 Мая 1945 года — день Победы!!! Война закончилась!!! Это трудно, просто невозможно рассказать, что наш советский народ чувствовал. Ведь почти в каждой семье кто-нибудь был на фронте и многие семьи потеряли своих родных, близких людей….

После войны было очень нелегко. Была карточная система. Но наш советский народ верил… Если мы сумели победить фашистов — этих нелюдей, зверей, наверно, ещё не нашлось такое слово, которым их можно назвать – этих мерзавцев-фашистов, то это тяжёлое время мы переживём, и всё наше поколение наш народ были уверены, что теперь, раз мы победили и уничтожили это чудовище — Гитлера, наступит рай на нашей планете, на нашей Земле!!! Ведь хуже фашизма не может быть ничего. Так мы все думали, так говорили, так мы верили… Но нужно время, надо подождать, но не только ждать, не покладая сил трудиться для того, чтобы наш народ зажил счастливо!!!

Нужно помнить и не забывать эти ужасы фашизма.

Дорогие мои, мы, жертвы фашизма, обращаемся к вам от имени живых и мёртвых. Мы должны продолжать заветы наших предков, это наши корни, а без корней ни один человек, как ни одно растение, не может существовать. Это необходимо нашему народу и следующим поколениям, тогда нас никто никогда не победит! Не забывайте страдания нашего народа в Великой Отечественной войне, никогда, никогда не забывайте, что такое фашизм, передавайте следующим поколениям, особенно сейчас, когда возрождается фашизм — эти нелюди с человеческим обличьем хотят переписать историю нашего народа.

Помните! Не забывайте! Не допускайте, никогда, никогда на нашей земле такое чудовище, как Гитлер, как фашизм… Это необходимо для нас всех. Я это вам говорю своим сердцем, своей кровью, пережив все ужасы фашизма. Более 27 миллионов наших советских солдат всех национальностей погибли — это только на фронтах. Каждая семья в нашей Великой стране потеряла своих родных, близких людей: отца, мать, мужа, сына, дочь, брата, сестру. А сколько было угнано в Германию на рабский труд, и как они там страдали, погибали и умирали! В сёлах, где не было евреев, немцы загоняли людей в амбары и заживо их сжигали. Немцы проходили через сёла, деревни и целиком их сжигали. Боже! А сколько погибло детей?

По всей Западной и Восточной Европе, где был фашизм, погибло 6 миллионов евреев, из них в нашей стране погибло 2 миллиона. Гитлер решил, что весь еврейский и цыганский народ должен быть полностью уничтожен, а русский народ должен стать рабом. Но его планы не осуществились. 16 октября 1941 года фашисты оккупировали Одессу, и только 28 марта 1944 года мы, жертвы холокоста, обрели свободу. Одесса была освобождена 10 апреля 1944 года. После освобождения в Одессе висели плакаты, в которых говорилось, что только в самой Одессе было уничтожено 200100 евреев. Но уничтожено было гораздо больше. Ведь бессарабские и румынские евреи были не учтены. В живых в Одессе осталось евреев около 300 человек.

Кончилась война, я вернулась в Одессу, я говорила, что была карточная система, наше поколение и следующее, думаю, тоже знают…

Но я надеюсь, что последующие поколения не будут знать фашизма, тяжелых времен в нашей стране, поэтому я решила для них рассказать, что такое карточная система — это когда на каждого работающего человека выда-

вали карточки на хлеб и продукты. Неработающим, иждивенцам тоже давали, но меньше по весу. Каждый день люди приходили в магазин, у них отрывали талончик и выдавали норму хлеба на себя и на иждивенцев. В магазинах за деньги ничего нельзя было купить. Каждый имел свою пайку. Но всё же были спекулянты, которые ухитрялись доставать хлеб без карточек, они продавали за большие деньги хлеб и другие продукты. Вот что такое карточная система. Эти карточки надо было беречь, потому что если ее потеряешь или ее украдут (было много таких случаев), то целый месяц вся семья обречена на голод.

В Одессе опять начались сложности. Жителям Одессы в свои квартиры из эвакуации вернуться без вызова было нельзя. Это значит, что если у одесситов в Одессе никого не осталось, чтобы послать вызов, то одесситы не имели права на законных основаниях приехать на родину и получить свою собственную квартиру. У меня были две близкие подруги Лиля и Бетя. У Лили отец работал на железной дороге, и в первую очередь железная дорога вернулась из эвакуации в Одессу. Лиля в Махачкале работала и ещё оставалась там. А дядя Яша и тётя Рива, родители Лили, вернулись в Одессу с железной дорогой.

Когда они приехали, дядя Яша пошёл меня искать в мой дом. В доме соседи ему сказали, что я одна осталась в живых и что мои все погибли, я служу в эвакогоспитале и из Одессы с госпиталем пошла дальше. Тогда он оставил мне записку, что их дом тоже разбит на ул. Кирова и Канатной, в записке был их новый адрес. А моя подружка Бетя по сей день со своими детьми живёт в Алма-Ате, приехать на Родину в Одессу не смогла,так как она не получила вызов.

Когда кончилась война, я вернулась домой в Одессу, мне передали записку, и я пришла к дяде Яше и тёте Риве. Какая была радость встречи, мы все плакали, ведь Лили-

ны родители ещё до войны дружили с моими родителями, у них были, кроме Лили, два сына, и оба были на фронте. Старший сын погиб, а младший Миша остался жив и пришёл домой. Дядя Яша и тётя Рива сказали: «Мы тебя не отпустим от себя, ты не будешь жить одна». Они ко мне очень хорошо относились. У них было тесно, но я жила как у себя дома. Передний флигель дома был окончательно разбит, в этом доме до войны у них были две прекрасные большие комнаты, но так как их флигель был разрушен, они в своём дворе на первом этаже нашли свободную квартиру, правда, там была одна большая комната и передняя, кухни не было. А ведь с фронта прибыл их младший сын, потом приехала Лиля из эвакуации, но они всё равно меня не отпускали от себя. Я, конечно, приходила к себе иногда домой. Потом приехали соседи из нашего дома, и пока они хлопотали, чтобы получить свою квартиру, ведь их квартира была занята жителями деревни из Одесской области, я их пустила на время в свою квартиру, нужно было помочь людям. Денег я у них не брала, хотя, конечно, они бы мне не помешали, но даже в мыслях не было так поступить. Я устроилась на работу в артели, счетоводом-кассиром. Вот так мы жили. У меня было несколько знакомых молодых людей, они просили у дяди Яши и тёти Ривы моей руки. Среди них был один парень из Польши, бежал из варшавского гетто, все родные у него погибли в варшавском гетто, он работал с дядей Яшей на железной дороге. Он говорил, что я ему очень нравлюсь и притом у нас одна судьба, и он сделает всё, чтобы я была счастлива.

После того как я обрела свободу, я не по дням, а по часам хорошела... Он мне говорил, что уедет в Польшу, из Польши уедет в Америку, ведь из Польши можно было тогда уехать в ту страну, какую тебе нужно, а у нас в Советском Союзе был железный занавес.



Илья Кацовский — мой любимый муж, умер — не перенес смерть дочери

У меня после войны сильно болела голова, была мигрень, я ему сказала: «Зачем я вам такая нужна, ведь после всего пережитого я всё время болею»! Но он ответил, что он меня отправит в санаторий, а вообще, «когда мы приедем в Америку, там тебя поставят на ноги и ты будешь здоровая так же, как и красивая». Но я с ним не поехала. Я ждала мальчика Илью, с кем я дружила до войны, он был постарше меня и был пионервожатым у нас в классе. Он закончил семь классов и перешёл учиться в 8-й класс, в Артиллерийскую спецшколу. У нас до войны были спецшколы во всех крупных городах Советского Союза: в Москве, Ленинграде, Киеве, Харькове, Одессе и др. В Одессе были спецшколы артиллерийская, лётная, морская, это значило, что, окончив 10-й класс спецшколы, ребята отправлялись учиться в военные училища по назначению. Мой мальчик, с кем я дружила, окончил 10-й класс спецшколы в 1941 году, звали его Илья Кацовский.

5 июня 1941 года Илья пригласил меня на выпускной вечер в спецшколу. Вначале была официальная часть. Замполит спецшколы выступил, поздравил их, дал напутствие своим выпускникам спецшколы — это было 5 июня 1941 года.

В это время шли уже слухи, что Германия нападёт на Советский Союз. Во дворах Одессы уже были военные



Дочь Ада — погибла от рук неофашистов

репетиции. Все жильцы домов Одессы должны были выходить во двор, и инспектора учили жильцов, как надевать противогаз, как раненым делать перевязки, как на носилках выносить раненых из домов, в которые попали бомбы, как тушить пожары, если попадёт зажигательная бомба на крыши и чердаки, как заклеивать стекла в квартирах газетами крестнакрест, чтобы во время бомбёжек не выпадали стёкла. Объявляли учебные тревоги, и жильцы домов должны были закрывать вечером ставни квартир, чтобы не падал свет на улицу во время бомбёжек. Это было ещё до войны, но многие говорили, что это очень серьёзно, а другие смеялись, говорили, что им делать нечего, и нечего людей пугать, ведь у нас заключён договор о ненападении. Сам Молотов заключал этот договор, вот так Одесса жила в сомнениях…

Я продолжу рассказ о том, как мы праздновали выпускной вечер в спецшколе у Ильи. Я уже говорила: сначала была официальная часть, открыл вечер замполит спецшколы. Он их поздравил с окончанием 10-го класса спецшколы и пожелал самого хорошего в жизни и в дальнейшей учебе. Он сказал: «Сейчас время тревожное, вы поступаете в военные училища, и надо быть дисциплинированными и строго выполнять все приказы командиров. Если нужно будет стоять по колено в воде и долго пере-

ходить через болото, ползти на пузе, всё это и другое вы должны выполнять. Желаю вам, если надо будет, всё это преодолеть и выйти с честью живыми и здоровыми!» Кончилась торжественная часть, ребята показали концертную программу. Потом начались танцы. И вдруг учебная тревога. Ребята бросились закрывать ставни… Меня охватил страх, я сказала Илье: «Вот видишь, это начало войны». Он успокаивал меня, сказал: «Это просто учения, а войны не будет, ведь у нас с Германией подписан договор о ненападении». Я немного успокоилась, и мы танцевали. Когда закончился вечер, я с Ильёй и тремя его товарищами и их девочками пошли на бульвар встречать рассвет.

9 июня 1941 года мама Ильи, по случаю окончания сыном спецшколы, устроила званый вечер. Илья пригласил своих товарищей с девочками, меня и мою подругу Лилю на этот праздник. Мы очень хорошо отпраздновали и в 10 часов вечера разошлись по домам. Проходили дни каникул, учебные тревоги продолжались, слухи шли разные, конечно, тревога в Одессе нарастала… Но по радио ничего тревожного не передавали, по-прежнему, как всегда, передавали новости, спектакли, играла хорошая музыка, пели советские песни. У нас в доме старались наши родные о войне при нас не говорить, но когда приходили к нам мамины сёстры с мужьями, слышались тихие тревожные разговоры. Вот так шло время… каникулы продолжались. Во время каникул мы с ребятами хорошо проводили время. Илья, Лиля, Бетя, мой двоюродный брат (погиб на фронте) Юзя, Лида и товарищи Ильи из спецшколы ездили в Аркадию, на Большой Фонтан, ходили на Ланжерон, катались на велосипедах на Куликовом поле, ходили в кино. Ребята уже купались, Лиля, Бетя, Илья были постарше меня. Моя мама боялась пускать меня одну на

море и очень просила, чтобы я не купалась, так как вода ещё холодная, а я часто болела ангиной. Я старалась маму слушаться, обещала, что купаться не буду, и только лежала на песке, загорала, нам было хорошо и весело.

Илья 17 июня 1941 года в 18 часов должен был уехать в Ленинград поступать в Артиллерийское военно-инженерное техническое училище. А мама Ильи, пианистка, уезжала с эстрадой на гастроли, тоже 17 июня 1941 года, но в 12 часов дня, Илья с папой её провожали. Илья попросил меня, чтобы я пошла с ними; я, конечно, с удовольствием пошла, мне очень нравилась мама Ильи. И так мы проводили 17 июня 1941 года в 12 часов дня маму Ильи, а вечером 17 июня 1941 года я с подругой Лилей пошла провожать Илью. Помню, купила коробку конфет «Пьяная вишня» и букет роз. Когда мы пришли на вокзал, там уже стояли его товарищи, отец и бабушка. Отец Ильи работал заведующим постановочной частью Одесской оперетты. Когда началась война, он пошёл на фронт и погиб.

Итак, Илью мы проводили 17 июня 1941 года в 18.00 в Ленинград, и никто не мог себе представить, что уже 22 июня начнется война…

А пока ещё мирное время. Лиля должна была поступать в музыкальное училище, у неё утром 22 июня в воскресенье экзамены, и мы решили к ним готовиться у меня дома, чтобы она не была ночью одна и не заснула, а вместе учить билеты. Всю ночь мы с ней учили билеты, утром она пошла сдавать экзамены, а вечером в училище выпускники давали концерт. Как только Лиля ушла, попив горячего чая, я после ухода Лили крепко заснула. Разбудила меня мама, сказала: «Вставай, ты ведь хочешь пойти в новом платье на концерт, а воротничок ещё не готов». Конечно, я проснулась, мне очень хотелось пойти на концерт в новом платье. Мы с мамой стояли у трюмо, был солнечный день, приме-

ряли платье, по радио играла музыка, и вдруг объявили: «Внимание, внимание! Передаём экстренное сообщение». И мы услышали голос Молотова, он сообщил: «Немцы вероломно напали на нашу Родину, на Советский Союз».

Этот голос я слышу и сейчас…

Началась Великая Отечественная война, которая принесла страшные страдания, унижения, унесла более 20 миллионов жизней.

Кончилось детство. Счастливая пора жизни… И вместо концерта… в 6 часов вечера в Одессе впервые в жизни мы услышали жуткую стрельбу (стёкла дрожали). Было очень страшно. Все соседи вышли во двор. Железные ворота нашего дома были закрыты, и нам всем казалось, что уже вошли немцы. Но это стреляли зенитки по вражеским самолётам. Одессу начали бомбить. Зажигательные бомбы попадали на крыши домов, и начинались пожары.

Мы, дети, вместе со взрослыми тушили на крышах и чердаках пожары. Жильцы нашего дома установили дежурство на крышах. Всю ночь над Одессой летали фашистские самолёты. Лучи прожекторов перекрещивались на самолетах, а зенитки вели по ним огонь. Вот так и прошли первые сутки войны. Отец скоро ушёл в народное ополчение, чтобы защищать свой любимый город Одессу. Я и сестричка остались с мамой одни.

Я говорила, что в начале этого дня в воскресенье была солнечная погода. Но после объявления войны пошёл дождь. Это, наверное, Бог помог нам тушить пожары.

И так эта кровавая война длилась с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Ура! Ура! Война кончилась.

По окончании войны Илья, старший лейтенант, продолжал служить на Дальнем Востоке. В феврале 1946 года впервые после войны он приехал в отпуск домой к маме, она уже вернулась домой в Одессу из эва-

куации. А в марте в Одессе мы поженились, я оставила квартиру, и мы уехали на Дальний Восток к месту службы мужа. Я очень хотела иметь много детей, чтобы опять создать большую семью. Но и это мне было не дано. Врачи запретили мне рожать, так как я была много раз зверски избита немцами и румынами. Но, несмотря на запрет врачей, я решила рожать. Если я не буду иметь хоть одного ребенка, одну кровинку, я не смогу жить.

И опять Бог помог! Хоть и были некоторые трудности, но врачи меня спасли… И я родила доченьку. Личико было смугленькое, а на щёчках румянец. Врачи говорили, что это чудо! Таких новорождённых детей они не видели… Я назвала свою дочурку Адочкой в память моей сестрички. Я говорила своей дочурке: «Доченька, ты должна быть счастливой за двоих. За себя и свою тётю Адочку, которая была в 9 лет невинно зверски уничтожена фашистами…»

Несмотря на тяжёлое моё послевоенное время, особенно на Дальнем Востоке, я отдавала ей всё, что только было в моих силах, и всю свою любовь. Моя дочурка была смыслом моей жизни. Дочка росла прекрасным, добрым и очень красивым ребёнком.

Потом муж поступил в Артиллерийскую инженерную академию, и пришлось жить в Москве на частных квартирах. Растила свою доченьку одна, ведь у меня никого не было из родных. Единственно родной человек — это была моя кровинка, моя дочурка. И я снова была счастлива. Правда, где бы я ни жила, мне помогали соседи. Иногда оставались с ней. Они мне говорили, что с Адочкой сидеть одно удовольствие. Муж учился и почти всегда был занят в Академии. Моя доченька росла, училась. Несмотря на сложности военной жизни с мужем-офицером, я была счастлива. Я ведь всегда была со своей дочуркой.

Мой муж закончил учёбу в Академии в 1954 году и получил назначение на военный полигон в Коломне, и мы опять переехали к месту службы мужа. Моя доченька окончила школу и музыкальную школу по классу фортепиано. Она поступила в педагогический институт и окончила физико-математический факультет. Умела прекрасно шить, вязать (ручной и машинной вязкой). Окончила курсы косметологов, и вообще за что бы она ни бралась, у неё всё отлично получалось. А главное, была очень добрым, отзывчивым человеком. Всегда помогала людям, особенно пожилым. Её очень любили… Я уверена, меня Бог вознаградил за мои страдания прекрасной дочуркой!

Но после всех страданий и потери всех родных меня всегда сопровождал страх… Доченька вышла замуж, родила двух прекрасных сыновей! И снова я счастлива! У меня есть хоть маленькая, но моя семья. Я мечтала дожить до такого времени, когда внуки женятся и у меня снова будет большая семья. Старший внук Денис женился, у него растёт хорошая умная дочурка. Я уже прабабушка! Дочка приходила со своей внучкой к нам, она её очень любила… Младший внук Сашенька окончил институт и работает в Санкт-Петербурге. Дружит с девочкой!

Но как я ни старалась убежать от хищных зверей, от фашистов, они меня догнали… и спустя 59 лет.

14 декабря 2000 года мою кровинку, мою единственную родную доченьку так же зверски убили… Убили мой смысл жизни…

Муж Илья, не выдержав потери дочери, умер от горя и страданий из-за зверски убитой нашей единственной кровинки доченьки Адочки… Но если в начале жизни после потери всех родных была мечта, надежда… То после гибели моей доченьки… моего мужа… надежда умерла… Осталась я опять одна…

Нет мне покоя ни днём, ни ночью… Только пустота… Темнота… Простите меня за всё написанное. Но… иначе я не могу…

Перед вами — летопись трагических событий оккупированной фашистами Одессы, а затем лагеря смерти. Ее автор, героическая женщина Евгения Кацовская, будучи девочкой-подростком, чудом выжила, пройдя все ужасы фашистского ада.

Этой книгой она исполняет свой долг перед узниками, давшими клятву: «Кто выживет, должен рассказать миру всю правду, все, как было, во имя жизни будущих поколений». «Помните!» — это призыв к незатухающей памяти человечества. Только память может спасти мир и остановить народы от повторения чудовищных преступлений.

Эта книга о невыносимом горе, великом мужестве и всеобъемлющей любви научит вас быть счастливыми, ценить жизнь и свободу.

Автор выражает глубочайшую благодарность своему мужу, полковнику ракетных войск Илье Михайловичу Кацовскому за помощь в создании этой книги.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 22
Оккупация..... 25
Лагерь..... 192
После освобождения..... 234

Подписано в печать 24.10.2012. Формат 60x90 1/16.
Гарнитура Minion Pro. Печ. л. 16,2.
Тираж 500 экз. Заказ № 2668.
Отпечатано в цифровой типографии «Буки Веди»
на оборудовании Konica Minolta
ООО «Ваш полиграфический партнер»,
ул. Ильменский пр-д, д. 1, корп. 6
Тел.: (495) 926-63-96, www.bukivedi.com, info@bukivedi.com